

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин

НАД НАМИ КОЛОКОЛ .

Когда человек приезжает из Франции, его не спрашивают:

- Ну как там Эйфелева башня? Стоит?

Про любую границу задают вполне осмысленные вопросы. Но попробуйте приехать из Австралии. Каждый, кто встречает вас, будь он даже лучший друг, задает один и тот же вопрос:

- Ну как там кенгуру? Видел? Прыгают? Любой разговор начинается с вопроса о кенгуру. Ни образование, ни возраст, ни должность роли тут не играют. В дальнейшем человек может проявить широту своих интересов, но первый вопрос неизменен. Наиболее чуткие люди, заметив мой тоскливый взгляд, смущаются, и все-таки удержаться от этого вопроса не в силах. Кое-кто пытался извернуться, быть оригинальным. Лучше всех это удалось одному физика, известному своим острым умом и своеобразностью мышления.

- Небось замучили, все спрашивают про кенгуру? - сказал он.

- Точно угадал, - обрадовался я.

- Пошляки. Ну, и что ты им отвечаешь? - И глаза его загорелись.

Можно подумать, что кенгуру у нас более популярны, чем в Австралии. В то же время сведения о кенгуру самые противоречивые, во всяком случае интерес к кенгуру выше среднего уровня знаний о них. Женщин почему-то особенно волнует сумка, в которой кенгуру носит детеныша: какой формы сумка, на молнии ли она, в моде ли сейчас такие сумки?

Я настолько привык начинать свой рассказ об Австралии с кенгуру, что по-иному уже не умею. Рухнула моя надежда начать свои путевые записки как-то необычно, свежо - например, описать полет над океаном, улыбки стюардесс, спасательные жилеты, огни городов под крылом самолета, едко высмеять деление внутри самолета на классы и заклеить буржуев из первого класса...

Разумеется, и этого я не упущу, но начну с той минуты, с того жаркого февральского дня в заповеднике под Мельбурном, когда что-то огромное, сероватое перемахнуло почти над нашими головами поперек всей аллеи, через кусты и обочины. От неожиданности я вздрогнул, и Джон Моррисон засмеялся.

- Кенгуру, - сказал он. И тотчас вслед за Джоном засмеялся кто-то наверху, высоко в зелени эвкалипта. Этот тип наверху хохотал все громче, призывая полюбоваться на приезжего невежду. Я обиделся. Джон утешающе взял меня под руку.

- Кукабарра, - сказал он. Кукабарре стало совсем смешно, она сорвалась и полетела, превратившись в довольно невзрачную птицу. На шум из-за деревьев вышел эму. Он зашагал прямо к нам, балетно переставляя свои стройные ноги. Плоский черный глаз его взирал на нас с высоты по меньшей мере правительственной. Эму остановился передо мной, и мне захотелось оправдаться перед ним, извиниться и обещать исправиться. Он был совсем не такой, как у Брема, и не такой, как в нашем зоосаде, он был с австралийского герба, олицетворение закона. Напевая государственный гимн, он проводил нас до калитки. Внутри загородки он не пошел, поскольку там нас приветствовала кенгуру, тоже с герба. Их двое на гербе Австралии - эму и кенгуру. Вместо львов, орлов и прочих хищников.

Довольно большая компания кенгуру окружила нас. Никаких глупых вопросов они не задавали. Они оглядывали, обнюхивали, этого им было достаточно. Рослая мамаша любезно показала нам некоторые обычаи. Она вытряхнула из сумки детеныша, вывернула сумку и ловко стала чистить ее передними лапками, коротенькими, как детские ручки. Малыш запрыгал ко мне, ткнулся мордой в колени. Я наклонился, погладил его, взрослые кенгуру спокойно следили за мной, полные доверия. Я осторожно бродил среди них, касаясь их шелковистого серого меха. Они были неистощимо доверчивы, от их веры в человека становилось совестно.

Мамаша закончила чистку своей сумки, и малыш прыгнул туда, закинув себя, как мяч

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru в баскетбольную корзину. Ноги его и хвост торчали из сумки, затем он перевернулся, высунул свою мордашу. И вдруг я почувствовал себя в Австралии. Я убедился, что это правда, я действительно нахожусь в этой стране. Аэродромы, взлеты, посадки, кварталы Сиднея, потоки автомашин, цветы, объятия, вспышки блицев – все, что беспорядочно сваливалось за последние дни в какую-то неразобранную грудку, было, оказывается, ожиданием. Мы уже побывали в Сиднее, в Канберре, снова в Сиднее, но я все еще плохо верил в подлинность происходящего. Сидней, разумеется, был подлинный, а вот я находился по отношению к нему в каком-то ином измерении. Там, в городах, тайное сомнение не исчезало.

– Послушайте, кенгуру, – сказал я, – значит, все это правда?

– Наконец-то, – сказал старый кенгуру и отпрыгнул в сторону, чтобы я мог сфотографировать его.

Джон стоял поодаль под банксией, я фотографировал и его. Я фотографировал какаду, черных лебедей, лирохвостов, летучих белок, опоссумов, медвежастых вомбатов, смешную серенькую птичку, которую звали палач. Они все тут жили на свободе, почти естественной своей жизнью, так, как они жили тысячелетия до прихода белого человека. В заповеднике белый человек вел себя так, как должен был вести себя, если бы он был разумным существом. Он не хотел стрелять, гнаться, не дергал никого за хвост, не тыкал в морду сигаретой, не кидал в опоссумов камнями. Странная мысль занимала меня: может быть, есть смысл создавать побольше таких заповедников для воспитания людей. В заповедники привозят людей, и животные их там воспитывают, делают их людьми.

Фауна Австралии самой природой приспособлена для воспитательной работы. Здесь нет хищников. Единственный хищник – динго, и то его считают одичалой домашней собакой, некогда привезенной сюда аборигенами.

Стоит увидеть блаженно-добрейшую физиономию коала, и становится ясно, что такие наивные, доверчивые чудачки могли появиться лишь в стране, не знающей хищников. Коала – маленький медвежонок, величиной с подушку, не больше. Целыми днями он висит на деревьях. Поест листьев эвкалипта и дремлет. Он презирает суету, всяческие стремления и поиски. Он всем доволен, лишь бы его не беспокоили, он величайший эпикуреец. Другие страны его не интересуют, и он добился своего: ни в одном зоосаде мира коала не бывает, поскольку он может питаться лишь определенным видом эвкалиптовых листьев.

Заповедник – это кусок буша. А буш – это австралийский лес.

– Австралия – не Сидней, не Мельбурн и даже не фермы, внушал нам Алан Маршалл. – Наша страна – это прежде всего буш, и пока вы не побываете в буше, вы ничего не поймете.

И он отправил Джона Моррисона с нами в буш. Еще в Москве мне попала книга рассказов Моррисона. Он пишет предельно точно и серьезно. Его рассказы запоминаются. Это, конечно, не обязательно, чтобы рассказы запоминались, это всего лишь свойство таланта. Писатель часто и не ставит себе такой задачи, получается это само по себе в результате действия каких-то мало еще выясненных составляющих. Тем не менее я предпочитаю рассказы, которые запоминаются и остаются со мной.

Я знал, что Джон Моррисон работает садовником. Я знал, что за рубежом редкие писатели могут прожить на литературные заработки. Но было грустно, что писатель такого таланта, как Джон Моррисон, вынужден работать садовником, в то время как писатели куда меньшего калибра могут нанимать себе садовников...

Когда в доме Алана Маршалла я познакомился с Моррисоном, не было никакого садовника, обиженного судьбой, несправедливостью, постылой работой. Был обаятельный, скромный, умудренный жизнью известный писатель Джон Моррисон. Он расспрашивал о новинках советской литературы, о своих московских знакомых, он был мягок, деликатен, даже несколько изыскан. Только здесь, в буше, он стал другим: походка сделалась упругой, руки большими, тяжелыми. Он все видел, все замечал – самые малые травы, легкие запахи, птиц, затаившихся в кустах. Он давно научился пользоваться льготами своей трудной жизни. Это был завидный дар – превращать тяготы в преимущество.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Мы долго ходили по заповеднику, болтали с маленькими попугайчиками, раскрашенными с неистощимой выдумкой. Палитра природы поражала любое воображение. Бесчисленные, самые, казалось бы, невероятные сочетания цветов отличались безукоризненным вкусом.

Почему-то природа никогда не бывает безвкусной в подборе красок. Из тысяч попугаев – какаду, лори, какапо и еще бог знает скольких видов – мы не нашли ни одного, которого можно было бы высмеять: "разодет как попугай". Ничего не повторялось, и все было красиво.

В застекленном бассейне ныряли утконосы, бродили красавцы лирохвосты, пробежали безобидные и поэтому страшные на вид огромные ящерицы – игуаны, ползли австралийские черепахи, толкались неповоротливые вомбаты... И среди всего этого доброго, забавного племени Джон был как пастырь, как Ной на своем ковчеге.

Притомясь, мы уселись в тени на скамейку, закурили. Послушай, – сказал Джон. Сверху раздался звук колокола. Чистый и звонкий. Ему откликнулся другой, потом третий. В вышине перезванивались колокола. Частые удары неслись с вершин эвкалиптов, как будто на зеленых колокольнях невидимые звонари вызванивали торжественное и радостное. Что-то мне это напоминало, как будто со мной уже было такое.

– Это такая птица, – говорит Джон, – птица-колокол. Па-анпан-панелла, – пропел он, подражая.

Кукабарра с ее смехом не так удивила меня, как этот колокол. Чего только не изготавливает природа в своих мастерских! Я позавидовал Джону, его близости к этому миру. Мир природы, мир птиц, цветов, животных, деревьев по-прежнему еще выигрывал перед миром физики, миром лабораторий, машин, приборов. Не очень правильным было это противопоставление, и все же я невольно занимался им и завидовал Джону. Вот тогда-то Джон Моррисон – садовник, Джон Моррисон – бывший докер и Джон Моррисон – писатель воссоединились для меня в одно.

И, кроме того, я завидовал Джону, что он мог показать мне чудеса своей родины не в тесных вонючих клетках зоопарка, а в этом солнечном просторном естестве.

Мне тоже хотелось бы показывать гостям природу моего Севера, не такую броскую, яркую, но не менее милую. Лес, где бесстрашно бегали бы ежи, и зайцы, и белки и летали бы утки, журавли, бродили бы лоси, куковали кукушки, пели соловья, и чтобы в реке возились бобры и выдры, а наверху стучали дятлы, а весной токовали глухари...

Но мне негде показывать. Пригородных заповедников у нас нет, а пригородные леса наши давно опустели.

Заповедников-парков нет еще ни под Ленинградом, ни под Москвой. Гости гостями, но, может, еще больше пригородные заповедники нужны нам самим. Ни ботанический сад, ни зоологический не заменяют естественности заповедника.

В чужой стране всегда сравниваешь. Путешествуя, мы невольно отбирали лучшее из незнакомых нам обычаев и быта народа, – может быть, что-то пригодится. Немало вещей нас огорчало, а порой и возмущало, и мы старались говорить об этом прямо там же. Наши друзья не обижались – они чувствовали искренность и то, что мы были честны. Мы смотрели страну непредвзято, мы радовались всему хорошему, не скрывали своего восхищения, мы судили об этой стране, доверяя себе и им, людям, которые многие годы борются за правду о своей родине.

Птичьи колокола звонили, и вдруг, глядя на счастливое лицо Джона, я вспомнил Ростов Ярославский, ветреный осенний день, когда мы стояли на звоннице под колоколами. Пятнадцать колоколов, начиная от огромного, язык которого одному человеку не раскачать. Ефим Дорощ рассказывал, как восстанавливали этот удивительный, единственный инструмент, с его знаменитыми, полузабытыми звонами, этот своего рода орган, рассчитанный на тысячные толпы слушателей. Я вспомнил, как тогда любовался самим Дорощем и его влюбленностью в ростовский кремль.

Вместо того чтобы глядеть во все стороны, записывать, запоминать, я предавался мыслям о Дороще и ростовских колоколах, как будто у меня были не часы, а годы жизни в Австралии. Хуже всего, что я не желал ничего записывать. Потом я часто

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru расплачиваюсь за это, но невозможно наслаждаться и записывать свое наслаждение. Неприятно даже думать, что подсматриваешь тут ради того, чтобы переложить эту красоту во фразы, главы и авторские листы... Я хотел быть честным к этому дню. Может быть, когда-нибудь он сам по себе всплывет в памяти так же свежо, как тот день в Ростове.

Мы продолжали сидеть на скамейке, и всякое зверье подходило осматривать нас. Джон относился к этому вполне серьезно, как будто он представлял меня на приеме. Мы не смотрели на часы, не думали о напряженном расписании наших встреч, визитов, осмотров. Мы освобождались от мучительной болезни путешественников – скорей увидеть еще одну площадь, еще один памятник, чего-нибудь не упустить, еще с кем-нибудь познакомиться. И вот сейчас, мысленно повторяя проделанный путь, я благодарен Джону за его мудрую медлительность. Около восьми тысяч километров пролетели и проехали мы внутри континента, осмотрели шесть городов, побережья, горы, проселки, фермы, мы видели много и многое узнали, но если мы что-то почувствовали, поняли, то происходило это в немногие неторопливые часы, когда мы переставали путешествовать. Так было в заповеднике под Мельбурном – мы сидели на скамейке с Джоном Моррисоном, курили и слушали птицу-колокол.

ПО ПОРЯДКУ

Путешествие, если рассказывать по порядку, началось с того, что я поехал на Васильевский остров, в Музей антропологии и этнографии Академии наук. Последний раз я был в этом музее, когда меня интересовали индейцы, скальпы, Фенимор Купер.

На дверях музея, конечно, висело – "Выходной день". Действовал неумолимый закон, согласно которому вы подходите к остановке как раз тогда, когда отходит нужный вам автобус, бутерброд падает маслом вниз, а дождь – когда вы без плаща и посреди площади. "Приходите завтра", – сказал вахтер. Но у меня не было завтра: вечером я уезжал в Москву. А оттуда в Австралию. Я все отложил на последний день. И музей. В глубине души я не верил. В любую минуту Австралия могла сорваться. У такой дальней поездки есть масса возможностей сорваться. Где-то, кто-то, что-то... Визы, посольства, валюта, разрешения, международная обстановка, внутренняя обстановка...

С зарубежной поездкой нужно обращаться умело. Лучше всего относиться к ней свысока. Ее не следует ждать, и ни в коем случае к ней нельзя готовиться, читать книги или смотреть карту. Она любит, когда ее бранят, когда от нее отмахиваются: зачем эта поездка, не нужна она, не до нее сейчас, отрывает от работы, путает планы. Опытный путешественник – тот вообще помалкивает, на вопросы неохотно бурчит: выдумали какую-то Австралию, шут ее знает, где она, жили мы без Австралии и хлопот не знали.

Любезный и чуткий от скуки вахтер сообщил, что, кроме музея, тут есть институт того же названия. Я позвонил из проходной.

Длинная, заставленная книжными шкафами комната была отделом Австралии. Ничего особенного я не увидел в этой комнате. В глубине ее сидели два научных сотрудника в пиджаках и брюках и пили чай с соевыми батончиками. Я подозрительно огляделся и попросил рассказать мне про Австралию.

Некоторое время они деликатно пытались выяснить, что именно меня интересует: история, промышленность, искусство, фауна. Я никогда не подозревал, что все эти штуки есть в Австралии. Перед размахом моего невежества они быстро скисли. Позже я узнал, что в своих научных спорах они отличались твердостью и строгостью, но тут они вели себя беспомощно. На них жалко было смотреть. С виноватым видом они показывали книги, десятки, сотни книг, справочники, альбомы, оттиски своих научных работ. Хуже нет иметь дело со специалистами. Я им прямо сказал:

– Не стану я ничего читать. Не надейтесь. Лучше уж я поеду так. Непосредственно. Как Джемс Кук. – Тут я спохватился и добавил: – Если я вообще поеду, потому что некогда мне ездить.

Они улыбнулись как-то опечаленно. Никто из них, оказалось, в Австралии не был. Всю жизнь они изучали Австралию издали, как астрономы. Они знали про Австралию все. Ее краски, ее людей, запахи, легенды, песни, живопись. Точность их знаний я мог оценить, лишь вернувшись из Австралии. Я пришел в институт рассказать о

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru поезде и не заметил, как стал слушать их рассказы.

А в тот первый раз Владимир Рафаилович повел меня в музей. В пустом полутемном зале сидели за стеклом пыльные аборигены среди своих бумерангов, топоров и копьеметалок. Коллекции были составлены Миклухо-Маклаем и затем А. Яценко. С тех пор как шестьдесят лет назад Австралию посетил Яценко, особых пополнений музей не получил. Экспедиций не посылают. Владимир Рафаилович – один из тех наших австраловедов, которые изучают аборигенскую жизнь во всех подробностях; его можно пустить к аборигенам, и никто не отличил бы его от любого обитателя-аборигена. Но, сидя на Васильевском острове, Миклухо-Маклаем не станешь. Слушая его, я чувствовал, что он готов хоть на плоту, как Тур Хейердал, добираться до своей Австралии. Сколько возможных Миклухо-Маклаев, энтузиастов, мужественных, самоотверженных, несостоявшихся путешественников вынуждено проводить свою жизнь в таких комнатах, заставленных книжными шкафами.

– Дались вам эти аборигены! – говорил я, ища слова утешения. – Первобытная нация. Что они могут дать нашему веку?

В глазах Владимира Рафаиловича появилась древняя тоска этнографа от древнего людского невежества.

– Раса! – устало поправил он. – Раса, а не нация. Целая человеческая раса. Одна из четырех рас. Они самое первобытное общество из оставшихся па земле. Поймите, как это важно для науки. – И он безнадежно махнул рукой.

Я вышел на набережную, получив первое свое австралийское расстройство.

Лед на Неве лежал еще крепкий. Лыжники возле университета садились в автобус. Легкий снег медленно кружился, не падая, а поднимаясь вверх. Навстречу мне шел Лева Игнатов.

– Откуда, куда? – спросил он. Он не дослушал меня. Недоверие – не то слово. Он воспринял новость как глуповатую шутку.

– Какая Австралия? Неостроумно. Сорок градусов жары и купание? Не существует. – Он поднял воротник. – Австралия? Понятия не имею. Это что-то вроде Атлантиды. Ты видел когда-нибудь человека, который был в Австралии? То-то. Старик, очнись, мы ж с тобой не школьники. Австралия! Антиподы! Люди, которые ходят вверх ногами! Мистика. Неужели ты до сих пор веришь? Тебе надо проветриться; махнем лучше в Кавголово на лыжах?

Его румяная морозная физиономия выражала такую уверенность, что моя Австралия растаяла, показалась выдумкой, и такой она оставалась долго, пока мы не ступили на раскаленные плиты сиднейского аэродрома.

Мы

В путевых очерках принято писать не "я", а "мы". Мы не будем нарушать обычая. "Мы" – признак скромности. "Мы" – не такая ответственность. "Мы" – более типично, когда "мы" ездим, "мы" ходим, "мы" – так оно спокойнее. Конечно, тут есть свои сложности. "Мы увидели", "мы сказали" – еще куда ни шло, а вот попробуйте – "мы чихнули", "мы подумали", "мы хлопнули дверью".

Мы действительно были "мы". нас было двое. Вся наша делегация – Оксана Кругерская, консультант Союза писателей, специалист по английской и австралийской литературе, и я.

Наше "мы сказали" – тоже правда. Сперва говорил я по-русски, а потом Оксана то же самое изображала по-английски. Под конец путешествия это уже бывало не потом – я еле поспевал за ней, я ей только мешал.

Ночной аэропорт Тегерана был пуст. На стенах светились цветные диапозитивы иранских мечетей. Стоянка длилась час, и весь час мы стояли перед витриной и разглядывали иранские миниатюры на слоновой кости, эмали.

Так они и запоминались – аэропорты с роскошными волнующими названиями: Калькутта, Карачи, Сингапур – по узорчатым дамасским клинкам, кашемировым шалям, по пухлым фигуркам будд, серебряным браслетам, сафьяновым алым туфелькам, с

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
золотым тиснением.

Самолет летел наискосок к рассвету, мы поглядывали на карты, проверяя очертания материков, земля кружилась далеко внизу, словно подвешенная в авоське меридианов и параллелей. Горизонт опустился, открылась вся земля, со всеми ее секретами и выпуклостями, она была и вправду круглой, и горы выглядели измятыми, и послушно извивались реки. Как на школьной физической карте, планета состояла только из моря и суши, лесов и пустынь – первородная планета, еще без границ, без вокзалов.

В Сингапуре мы задохнулись. Там была парилка. Тело, одежда – все сразу стало мокрым. Мы еле добрались до аэровокзала. Под его стеклянным колпаком, надрываясь, нагоняли кондиционированный воздух эркондишен.

– САС!САС!

Пассажирам САС выдавали за счет авиакомпании джус.

В другом углу конкуренты кричали:

– Эр-Индия!

Там давали кофе.

Сингапур был перекрестком. Десятки авиакомпаний переманивали к себе пассажиров, угощая, развлекая, обещая. Круглые сутки здесь торговали фотоаппаратами, транзисторами, магнитофонами. Для авиапассажиров японские, английские, американские, голландские изделия продавались без пошлины.

Мужчины молча разглядывали маленькие плоские японские телевизоры и совсем крохотные магнитофоны. Женщины обступали парфюмерию, а дети и мы сидели на корточках перед электроигрушками.

Игрушечные самолеты, жужжа, бегали по полу, загорались сигнальные огни, самолет останавливался, разворачивался, умолкал, вдруг опять двигался, действия его были неожиданны. Навстречу ему ползли танки. Башни их поворачивались, пушки стреляли. Тут же ходили слоны, прыгали обезьяны. Роскошные лимузины и старинные паровозы, старинные автомобили и мощные локомотивы, вертолеты, ракеты – в такие игрушки взрослые хотели играть больше, чем дети.

Самолет поднялся над Сингапуром, и возник город, огни его реклам. Через несколько минут он съехался и сам стал игрушечным и затерялся среди островов и тускло поблескивающего выпуклого океана.

От Москвы земля была в снегу, черно-белая, как на фотографии. Краски проступали несмело, серо-зеленые, затем появились коричневые пустыни Пакистана, соленые озера высохшие, грязновато-молочные, без блеска. И какие-то красные. Ярко-красные озера. Таких я никогда не видел. Опять пустыни. Бескрайние пространства. А в пыльном Карачи теснились тысячи бездомных, лишенных работы, они превращались в нищих, попрошайек, жизни уходили впустую... На высоте девяти тысяч метров мыслишь иначе. Не видно государств, границ, и земля становится единой.

Самолет пересек экватор. Нам вручили на память об этом событии удостоверение, подписанное командиром корабля, пеструю грамоту, разрисованную всякими тропическими животными. Вместо купания напоили джусом. Итак, мы на другой половине земного шара. Мы вверх ногами. Мы антиподы.

Посадок больше не будет, следовательно, все пассажиры летят в Австралию. Среди них есть коренные антиподы. Я прошелся по самолету, пробуя, каково быть антиподом. Вроде ничего, вроде нормально, как будто я всю жизнь ходил вверх ногами. Тут я вспомнил, что, в сущности, человеческий глаз видит все предметы перевернутыми, а уже наш мозг восстанавливает их нормальное положение. Дело в привычке. И с нами, наверное, происходило что-то похожее.

Внизу ползли островки, черно-зеленые островки Малайзии, эскадры больших и малых островов. Где-то там плыли корабли Магеллана, Кука, Лаперуза, Крузенштерна, Лазарева, Коцебу. Гравюра в затрепанной книге детства: гибель капитана Кука.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Туземцы с копьями убивают на берегу храброго капитана. На каком-то из этих островов погиб Магеллан, погиб Лаперуз. И все же, несмотря на все тяготы и неприятности, это отличная профессия – первооткрыватель. Они вкладывают свой талант и жизнь в наиболее устойчивое дело. Открыл ты Тихий океан или открыл Новую Зеландию – и никто этого отнять уже не сможет. Бессмертие обеспечено. Слава полностью расцветает примерно лет через сто, но зато далее не меняется. Она не зависит ни от какой конъюнктуры, от новых открытий. Стоят тебе памятники – их не сносят, упоминают тебя в путеводителях – не вычеркивают, не пересматривают. Поколения гидов восхищенно твердят о тебе одно и то же, что бы ни творилось в мире.

Слава первооткрывателей никогда не стареет. Стройная бронзовая фигурка Крузенштерна на берегу Невы, в старинном мундире с эполетами, с годами становится романтичней. Рядом с огромными лайнерами, атомным ледоколом, дерриками судостроителей он не кажется ни старомодным, ни наивным. Они все обладают этим удивительным свойством: памятник Джемсу Куку в Сиднее и памятник Колумбу на Кубе, памятник Нансену, памятники тем, кто искал неведомые земли, кому удалось дойти, увидеть то, что еще никто не знал.

"Будьте, пожалуйста, первооткрывателями! Если вы ищете, куда вложить отпущенную вам смелость, силу, положенную вам славу, – вкладывайте их в первооткрывательство. Надежно! Гарантировано!" – вот что следовало бы вывесить на трансконтинентальных линиях, в аэропортах, в самолетах.

#### ТЕРРА ИНКОГНИТА

Рассвет набегал на закат, солнце оказывалось то слева, то справа, время спуталось – может быть, мы летели вторые сутки, может быть – неделю, часы то и дело приходилось переводить, завтраки, ужины, ленчи – все смешалось. Одна лишь усталость отсчитывала истинное время.

Превосходный голландский мореход Абель Тасман, чтобы открыть свою Тасманию, плыл к ней три месяца. Команда питалась сухарями и солониной. Это было в 1642 году. Большинство великих открытий шестнадцатого – семнадцатого веков было сделано на сухарях и солонине. Консервов не существовало и витаминов-драже также. Из каждых четырех матросов трое болели цингой – Кук первый взял с собой сушеные фрукты, чтобы как-то спастись от цинги. А мы за каких-нибудь восемь часов устали, утомились в мягких креслах. Перед едой нам приносили замороженные душистые салфетки, пропитанные лосьоном, чтобы вытереть руки, лицо.

И тем не менее немножко, чуть-чуть мы тоже чувствовали себя первооткрывателями.

В Аэрофлоте девушки, бывалые, с глазами зеркальными, никого не видящими, при слове "Австралия" все-таки подняли головы, и что-то нездешнее оживило их лица.

На этой исхоженной планете, оказывается, еще остались дальние страны. Километры пути тут ни при чем, США уже не дальняя, и Куба не дальняя. А, например, Тибет или Турция еще дальние, загадочные. И Австралия.

*Terra australis incognita* – неведомая южная земля. Она появилась как гипотеза еще в древности – некий огромный материк в южном полушарии, должный уравновешивать северный материк. Одна за другой снаряжалась экспедиции в поисках австралийской земли. Искали ее где-то южнее настоящей Австралии. В те времена об Антарктике не было известно ничего, ни один корабль не заходил дальше мыса Горн. Сбиваясь с пути, некоторые корабли приставали к Австралии. Но так как на ней надписи не было, то называли ее по-всякому: "Великой Явой", "Новой Голландией", "Новым Южным Уэлсом".

Австралию открывали мучительно долго. Перипетии ее открытия могли бы многому научить, если бы люди желали учиться. Это поучительная страница в Истории человеческих заблуждений.

Начинают эту страницу античные географы во втором веке нашей эры. Птолемей, автор многих великих заблуждений, считал, что на юг от Индийского океана должен существовать огромный массив суши. Со свойственной ему самоуверенностью он изобразил ее на своей карте. Документ есть документ, и полторы тысячи лет таинственный материк послушно наносили на карту под названием "Еще неведомая Южная Земля".

Одна за другой экспедиции голландцев, англичан, испанцев, французов бороздили Тихий океан, разыскивая Южную Землю. Попутно открывали острова, архипелаги. Южной Земли не было. Не находили. А между тем миф обрастал новыми подробностями. Географы вычислили площадь южного материка, он получился равный всем цивилизованным странам северного полушария – 180 миллионов квадратных километров (то есть в 22 раза больше нынешней Австралии и в 12 раз больше Антарктиды).

Шло время, была открыта Америка, рухнула птолемеевская система мира, погасли костры инквизиции, Галилей отказался от физики Аристотеля, Ньютон создал новую механику, представления о Вселенной расширились в тысячи раз, а легенда о неведомой Южной Земле здравствовала и процветала. Заблуждение становилось мифом. Миф обзавелся теорией – солидной теорией равновесия: материковые массы северного и южного полушарий должны находиться в равновесии.

Человечество давно сбросило астрологический колпак, алхимики переучились на химиков, вместо "электрической жидкости" появились первые серьезные теории электричества, и, несмотря на все это, всерьез обсуждалась работа географов, которые сосчитали, сколько людей должно проживать на искомом южном материке – не меньше 50 миллионов! Путешественники мечтали с ними встретиться... Смешно?

Совсем недавно мы сами мечтали встретиться с марсианами, строителями марсианских каналов. Тоже смешно? Кто знает, сколько еще мифов и заблуждений окружает нас сегодня, сколькими мифами мы пользуемся. Что станет смешным для наших потомков? Боюсь, что им даже не слишком интересно будет читать о наших ошибках. Так же как и нас не слишком волнует путаница с открытием южного материка.

Если бы мы научились распознавать свои собственные мифы и заблуждения, если бы мы изучали Историю Великих Заблуждений, если бы, наконец, кто-нибудь занимался этой историей... Но историки предпочитают историю открытий истории удач и успехов познания. Заблуждения, когда они становятся заблуждениями, кажутся слишком нелепыми, непонятно, как люди могли так подолгу жить с ними и верить в них.

Та экспедиция Джемса Кука, которая установила истинные очертания Австралии, отправлялась не за этим, она искала пресловутый южный материк, так что некоторым образом легенда о южном материке помогла открытию Австралии. В мифах бывает и нечто прогрессивное, часто именно ради них пускались в путь, под них выделялись всякие фонды и средства. Я вспоминаю мифы нашего времени:

Снежный человек.

Сигналы из Вселенной.

Тунгусский метеорит.

Каналы Марса.

Телепатия.

Атлантида.

...Разочарования ничему меня не научили, каждый раз я неохотно расставался с обещанным чудом – ну, если и не чудом, то, во всяком случае, с тайной. Приятно было надеяться, что есть в нашем мире что-то таинственно-необъяснимое, загадки, рожденные не в лабораториях.

Австралия терпеливо ждала, и когда люди убедились, что никакой другой Южной Земли нет, она утвердила наконец свое имя.

С тех пор, за какие-нибудь полтора ста с лишним лет, Австралия сделала блестящую карьеру. Она стала частью света, одной из пяти, сочинила свой гимн, вошла во все школьные программы географии, статистические справочники, развела овец, автомобили, коттеджи. Но все равно что-то осталось в ней от мифа, от ее предка – легенды о неведомом, таинственном материке.

Под крылом самолета плыли ее красноватые земли.

"...Плотность населения Австралии примерно один человек на квадратный

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru километр..."

Как он встретит нас, этот человек, на своем квадратном километре и что он за человек?

Из статистического справочника, преподнесенного мне ленинградскими австраловедами, человек этот появлялся, окруженный пятнадцатью приходившимися на него овцами. На душу его приходилось сто килограммов мяса в год, триста килограммов стали, три грамма золота украшали его душу и много разных цветных металлов.

Я слепил из этих данных австралийца, затем стал воображать себе Австралию, и нас в этой Австралии, и наши приключения, а потом я представил, как через три-четыре недели мы будем лететь обратно и со мной будет уже увиденная Австралия. Совпадут ли они, увиденная и воображенная, и какая из них будет лучше? Вспомню ли я нынешнюю? Самолет будет такой же, те же салфетки и кресла, а мы станем другими. Вспомню ли я нынешнее чувство, с каким я подлетаю к этой земле, а если вспомню, то как отнесусь к нему, к моему волнению и ожиданиям?

#### ИНТЕРВЬЮ

Обычное демисезонное пальто повисло на руке нелепой толстенной шубой. Пока оформляли паспорта, мы потели, задыхались, со страхом ожидали, что станет с нами, когда мы выйдем из аэровокзала на улицу. Встречающих в таможенный зал не пускали. А мы понятия не имели, встречает ли нас кто-нибудь. Посольство в Канберре, а тут, в Сиднее, ни консульства, никого из советских людей.

- В крайнем случае позвоним в Союз писателей, - сказал я Оксане.

Лишь спустя неделю я оценил наивность своего утешения.

Последний чиновник хлопнул последней печатью, и мы вышли в общий зал.

Мы в Австралии. Я собирался ощутить торжественность этой минуты, но тут все завертелось быстро-быстро, как на старой киноленте. Букеты, объятия, улыбки, имена, имена:

- Мона Бренд.

- Лен Фоке.

- Джон Хейсс, - и еще, еще.

"Как долетели?", "Устали?", "Хотите кофе?", "Где багаж?"

- Мери Ароне.

- Терри Рэни.

Мы целовали, нас целовали, я не успел разобраться, кто из них Джон, а кто Мери, вдруг нас куда-то потащили, скорей, скорей, и мы оказались в маленькой комнатке, странно пустой комнатке с диванчиком, нас толкнули на этот диванчик, зажглись юпитеры, на нас покатались сверкающие циклопы телевизионных аппаратов, зажужжала кинокамера, завспыхивали блицы, вокруг нас не осталось никого из тех, кто обнимал, целовал, а появились какие-то молодые люди с блокнотами, с микрофонами, они зажали нас со всех сторон, в маленькую комнатку было не пропихнуться, стало еще жарче, уже совсем жарко.

- Есть ли в СССР свобода печати? - громко спросила меня Оксана. - Зачем вы приехали в Австралию?

Я смотрел на нее с ужасом. Только что она была здоровой. С неподвижной беззаботной улыбкой она продолжала:

- С кем вы собираетесь тут встретиться? - И, не меняя голоса, она сказала: - Пресс-конференция, - и крепко взяла меня за руку, мешая вскочить, бежать.

- Какая пресс-конференция? Зачем? Не хочу! Пустите меня!

Первое, что пришло мне в голову, – это схватить штатив киноаппарата и, вертя его над головой, пробиваться к выходу.

Я не хотел никакой пресс-конференции, я хотел пить, я хотел курить, хотел вытереть пот, я был грязный, небритый, я хотел под душ, я мечтал отделаться от своего пальто. Я был готов к чему угодно, только не к пресс-конференции.

"Советский писатель в Австралии!

В ответ на вопросы он опустил на четвереньки, укусил нашего корреспондента, рыча, выбежал из аэропорта и скрылся в соседней пустыне..."

– Товарищи, учтите, возможны всякие провокации, реакционные круги этой страны могут встретить вас враждебно...

– Ты слушай меня, я человек опытный, я эту буржуазную журналистику, как свои пять. Они любят, когда им отвечают быстро, остроумно. Что-нибудь такое находчивое. И оригинальное. Чтобы вынести в заголовок. Например: "Остановись, мгновение, ты прекрасно" или: "Собака лает – ветер носит". Действуй в таком роде.

– Буржуазные журналисты – они могут приписать тебе что угодно. Говорил ты, не говорил – это их не остановит, потом ходи доказывай.

Со всех сторон нависли занесенные шариковые ручки. Господи, как я ненавидел этих журналистов – чистых, выбритых, в легких рубашках.

– Зачем мы приехали? Не для того, чтобы потеть на пресс-конференциях. Прodelать шесть тысяч километров, чтобы рассказывать вам про Достоевского?

Я огрызался, накидывался на них, – ничего не получалось. Они не обиделись и не ушли. Они весело строчили в своих блокнотах, как будто им нравился мой тон.

– Печатаете ли вы несоциалистических реалистов?

– Богатые ли вы люди?

– А можете вы сами напечатать свой роман?

– Что сейчас делает Пастернак?

Пастернак? Сверкнули блицы, фиксируя мои вылупленные от изумления глаза. Я невесело рассмеялся. Каждый из них умел стенографировать, у них были отличные портативные магнитофончики и превосходные фотоаппараты, они были оснащены по последнему слову журналистской техники, – но до чего ж они мало знали, до чего ж нелепы были приготовленные вопросы! Я смеялся над собой и над ними. Я увидел, что передо мной сидят замороченные газетные работяги, мало знающие, мало читающие.

– Кто вам нравится из современных западных писателей?

– Хемингуэй, – сказал я, – Колдуэлл. – Я вспомнил одного нашего критика и в пику ему добавил: – Кафка.

– Кто?

– Кафка, – повторила Оксана.

И по их физиономиям я понял, что никакого Кафку они не знают, первый раз слышат. С таким же успехом я бы мог назвать им Овидия, Бронислава Кежуна, Вольфа Мессинга. Они ни черта не знали, ни западной, ни советской литературы, не знали, что Пастернак умер, а потом выяснилось, что они и своей, австралийской, литературы не знали. Журналистка одной из центральных газет Австралии приехала к Катарине Причард взять у нее интервью по каким-то вопросам женского движения. Она спросила: "Говорят, что вы пишете романы? Вы писательница?"

Мы часто недооцениваем широты собственных знаний, своего образования. Нам все

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru кажется, что они знают больше. Мы и не представляем, как много мы изучили за последние годы.

Еще сыпались вопросы, а радио уже объявило посадку на Канберру, и нас в том же темпе потащили на поле, и бобслей раскручивался в обратном порядке, пока мы не очутились в воздухе. И тут мы обнаружили, что дотошные журналисты украли у нас встречу с Австралией. Мы с Оксаной пытались выяснить друг у друга, что мы наговорили. Осталось ощущение бедлама, суматохи, мельтешни. Нет, быть первооткрывателем тоже нелегко.

Итак, туземцы с фотоаппаратами вместо копий отбили первую попытку высадиться в Австралии, мы вынуждены были подняться в воздух.

Мы задумались над судьбой нашей поездки. Плата за экзотику оказалась слишком высокой.

В дальнейшем мы, конечно, как-то приспособились. К славе тоже можно приноровиться, тем более что слава была не наша. Это был интерес к советской культуре, к советским писателям, которые тут бывали редко. В конце концов мы ехали сюда работать. Пресс-конференции были тоже работой. Встречи, приемы, выступления по радио, телевидению, доклады, визиты – обычная работа всех подобных делегаций. Из-за этого много интересного мы не успели посмотреть. Из-за этого уставали, надоедало говорить одно и то же, но я все-таки рад, что у нас было дело, а не туристская поездка. Мы жили. Мы ошибались, попадали впросак, что-то нам не удавалось, зато что-то мы смогли рассказать и сделать – завоевать друзей, разоблачить ложь... Мы были участниками, а не только зрителями.

– А что ты видел в Австралии?

Я начинал перечислять и вдруг убеждался, что все это я мог узнать, не уезжая из дому. Почему-то никому не приходило в голову спросить: "А что вы делали там?", хотя больше всего хотелось рассказать, что делали и что сделали. Потому что это наше, об этом нигде не прочтешь, кроме как в нашем коротеньком служебном отчете, который подшивается к денежному отчету для бухгалтерии.

## СТОЛИЦА

Такой странной столицы я еще не видал и вряд ли увижу. Канберра – дитя многолетней распри Сиднея и Мельбурна. Каждый из двух крупнейших городов страны хотел стать столицей. Ожесточенные споры долго мешали самоуправляющимся штатам создать федерацию. Наконец в 1901 году договорились – "ни нам, ни вам" – сделать столицу где-то между обоими городами. Двенадцать лет выбирали место. Еще двенадцать лет кряхтели, чесали затылок, пока начали строить столицу на пустынном пастбище, окруженном холмами. Строили неохотно, еще лет сорок, и так и не выстроили. И сейчас строят. Бенгт Даниельссон, спутник Хейердала, путешествовал в 1955 году по Австралии. Он написал интересную книгу "Бумеранг", где едко высмеял Канберру – скучнейшую деревню, потерянный город, единственную в мире столицу, где чиновники по дороге со службы могут собирать грибы и стрелять кроликов с балкона.

Все правильно. Однако за последние десять лет Канберра изменилась. Группы коттеджей, раскиданные, по словам Даниельссона, на грязном пустыре, оказались теперь на берегу искусственного озера. Водная гладь объединила разрозненные поселки, оживила долину. Вода часто создает физиономию города. Немыслимо представить себе Ленинград без набережных, мостов, каналов. Попробуйте тот же Сидней отодвинуть от залива. Канберра построена далеко от океана; пока не было озера, она выглядела, наверное, безобразно. Сейчас у нее появилось что-то свое. Еще не характер – приметы. Деревенская скука осталась. Еще нет центра города, нет толпы, вечернего Бродвея, нет огней рекламы, кабаре, театров. Приходится придумывать развлечения самим. Скучающие чиновники привезли акулу, пустили ее в озеро. Поднялась паника, но то ли от пресной воды, то ли от канберрской скуки акула издохла.

Чем еще можно заняться? Канберра живет в коттеджах. Она не признает квартир, общих домов, только коттеджи. И занимаются коттеджами.

Коттеджи-щеголи, коттеджи-пижоны, стилиаги, снобы, аристократы, коттеджи-хвастуны, коттеджи-завистники. Все они модернисты, каменные: красный

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru кирпич, белый кирпич, пестрый кирпич. Вокруг коттеджа садик. Мой садик примыкает к твоему садику. У тебя клумбы, а у меня алые кусты, у тебя фикусы, а у меня араукарии, и я еще посажу всякие ботанические тропики. На траве-мураве целый день крутится поливалка. У тебя шланг розовый, тогда у меня бирюзовый. Водяные хвосты радужно переливаются на солнце. С улицы смотреть – красотища. И смотрится хорошо: никаких заборов, никаких оград тут нет. Но на улице пусто. Один беленький шпич сидит на веранде. Красные глаза его налиты умопомрачающей скукой. Лаять не на кого. И не предвидится. Выморочные пространства асфальта лишены человеческой плоти. Крашеное железо проносится с вонью и скоростью, бессмысленной для погони. Пешехода в Канберре нет. Ему и тротуаров не выстроено. Автомобиль и автобус – единственные движущиеся существа. Тротуарная площадь сожрана обильными дорогами, по которым можно добраться в любое учреждение. Ровно в полдень из министерств, из Пентагона – есть тут свой Пентагончик, – обгоняя друг друга, несутся машины. Ленч. Разбегаются по извивам асфальтов, до коттеджей. Через час так же стекаются, несутся обратно и стройно скапливаются на площадях перед светлыми государственными параллелепипедами. Небесному наблюдателю бегающие авто кажутся единственными жителями столицы. Настоявшись на площади, они расползаются по своим коттеджам, забираются в гаражи, откуда выбегают утречком помытые и запроваленные для дальнейшего движения к государственным стоянкам.

Мы дважды прилетали в Канберру. Большинство пассажиров чиновники с портфелями; в свою столицу чиновник летит без радости, он совсем не похож на оживленного чиновника, летящего из столицы.

Канберра в некотором смысле идеальная столица: туда не рвутся командированные, в отелях всегда есть номера. Периферийные граждане, из самой глухомани, – и те не мечтают переехать в столицу. Только отъявленные карьеристы, чтобы сделать государственную карьеру, готовы поступиться многими радостями жизни. Карьерист оставляет их в Сиднее, в Мельбурне. Или продвигаться, или развлекаться.

На университетском обеде в честь нашей делегации профессор Менинг Кларк познакомил нас с писателями и литераторами Канберры, с ее Союзом писателей – "Феллоушип". Мы привыкли, что слова "Союз писателей" связаны с каким-то клубом, помещением, где есть кабинеты, письменные столы, телефоны. "Феллоушип" ничего этого не имеет. Однажды, когда мы сидели дома у секретаря "Феллоушип" – Линден Роуз, она вытащила папку – все хозяйство писательской организации. В папке помещались канцелярия, отдел кадров, отчетность, бухгалтерия, переписка. Та же папка фигурирует в "Феллоушип" каждого из семи штатов. Руководит австралийским союзом по очереди в течение года организация одного из штатов. Сейчас обязанности председателя исполнял "Феллоушип" Тасмании. Нам ни разу не удалось позассдать в кабинетах, с графинами и секретаршами. Не было протоколов и стенограмм. Все дела решались в кафе, на обедах, со стаканом пива в руках.

Давид Кемпбелл читал стихи. У него были огромные руки фермера. Когда он взмахивал ими, пламя свечей колебалось и тени шатались. Мы обедали при свечах. На деревянном непокрытом столе, в деревянном зале. Это была первая встреча с нами, и все держались немного настороже, избегали трудных вопросов. А стоит только начать избегать, как любая тема становится опасной. Менинг Кларк беснокоенно поглядывал в нашу сторону. Ему очень хотелось, чтобы нам здесь понравилось. И другие тоже старались. Рядом со мной сидел Гарри. Он преподавал в университете славистику.

– Можно мне помочь вам смотреть Канберру? – сказал он по-русски.

– А вы не заняты?

– Я освобожусь, – он как-то робко запнулся. – Если вам, конечно, не помешаю, у вас свои планы.

– Чудесно, – сказал я.

– Я бы заехал за вами, если это возможно.

Он нерешительно оговаривался, готовый в любую минуту отступить, словно опасаясь чего-то. По одной его обмолвке я вдруг понял, что он боится поставить нас в неудобное положение, – он не знал, можно ли нам оставаться наедине с ним, бывать в частных домах, заходить в пивные и общаться с неизвестными лицами. Имеем ли мы вообще право действовать, не согласовав с кем-то. Может быть, нам положен

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
специальный провожатый.

Я чуть было не обиделся, но разве он был в этом виноват?

Кемпбелл читал стихи так, как читают хорошие поэты, слушая самого себя. Даже не зная, языка, всегда можно определить на слух, чего стоят стихи. В хороших стихах много музыки. Один австралийский поэт прочел свой перевод Пушкина, и я по ритму узнал "Чудное мгновенье", такой это был отличный перевод.

Официант налил мне немного вина для пробы. Он стоял, ожидая, и все за столом смотрели, как я пробую. Вино было отличное, но я помотал головой, чтобы достигнуть репутации знатока. Официант вернулся с другой бутылкой. Я задумчиво почмокал, это была изрядная кислятина, я не выдержал сморщился, кто-то улыбнулся, я тоже улыбнулся, и все засмеялись, за столом стало просто и весело, и начались австралийские тосты, которые короче тостов всех других пьющих народов.

Прежде чем гулять по Канберре, мы отправились в посольство получить свои паспорта.

- А зачем вам паспорта? - спросил консул.

- Странно, - сказали мы, - как же мы можем без документа в чужой стране?

Нам даже диким показался его вопрос и улыбка его.

- Не беспокойтесь, - сказал он, - не нужны вам никакие паспорта. Никто их у вас не спросит.

- Ну, Канберра, допустим, но ведь мы поедем дальше по стране.

- И там они вам не пригодятся. Поедете без паспортов, так спокойнее. Не потеряете. Они тут все живут беспаспортные.

Мы осторожно проверили у Гарри - он не имел паспорта.

- Как же вы живете без паспорта? Он удивился:

- А для чего он мне?

- Ну как же, - мы тоже удивились, - а если приезжаете в гостиницу?

- И что?

- А как вас зарегистрировать?

- Запишут фамилию, и вся регистрация.

- А откуда они узнают фамилию?

- Я скажу.

Мы опять удивились и задумались:

- А для полиции? Если вы нарушите. Гарри еще больше удивился:

- Зачем тогда паспорт, меня и без него приговорят к штрафу.

Мы удивились еще больше. Мы никак не могли представить себе жизнь без паспорта, а он никак не мог представить себе, зачем человеку может понадобиться паспорт.

Откровенно говоря, уезжая из Канберры, мы без документов чувствовали себя неуютно. Ни в одном из городов Австралии нет ни советских консульств, никаких представителей, кто же удостоверит нашу личность? Нам почему-то обязательно хотелось, чтобы нас могли сверить с документом, как будто личности наши главным образом находились в паспортах.

Мы объехали значительную часть страны, с нами происходили разные приключения, и

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru ни разу никто у нас не спросил паспорта. Он нам просто не понадобился.

В каждой стране свое понимание порядка. Например, в Карачи, когда мы остановились там на несколько дней, мы должны были заполнять анкету, какая и не снилась нашим отделам кадров в самые отчаянные времена. Это была самая доскональная анкета в моей жизни. Там были такие вопросы:

"Почему вы уехали из той страны, из которой вы уехали?"

"Что вы хотите купить в нашей стране?"

"Девичья фамилия матери вашей матери?"

"Что вы делали сегодня, вчера, позавчера?"

Хотел бы я знать, кто был изобретателем этой анкеты. Кто вообще изобрел анкету, личное дело, паспорт. Как дошли они до этих вещей, были ли у них трудности и как им помогала общественность.

Уезжая из Канберры, мы уговаривали Юрия Яснева, корреспондента "Правды", поехать с нами по стране. Он настоящий журналист, общительный, с крепкой хваткой и безошибочными вопросами, работяга – словом, идеальный спутник, да к тому же знающий страну. Но Яснев только вздохнул. Несмотря на вольную беспаспортную жизнь, он не имел права выехать из Канберры. О разрешении надо заранее хлопотать в австралийских министерствах.

Он провожал нас на самолет. По дороге он произнес речь о Канберре. Я слушал его и радовался. Казалось бы, что человеку надо – у него комфортабельный коттедж, машина, библиотека, – и вот, оказывается, грош этому цена, если нет возможности свободно заниматься своим журналистским делом – ездить, знакомиться с людьми... Я давно не слышал такой сильной речи, жаль, что ее нельзя тут привести. Ее невозможно даже процитировать. Но, честное слово, это была великая речь, выстраданная и продуманная тоскливыми канберрскими вечерами.

СИДНЕЙ

Мы летели из Канберры в Сидней поздно вечером. Стюардессы в салоне погасили свет, чтобы лучше был виден город. Таков обычай. В самолете, кроме нас, все были австралийцы, и все равно они оторвались от своих банок с пивом и прильнули к окнам. Сидней вползал под крыло, огромный, как Млечный Путь, со своими созвездиями и галактиками. С одной стороны огни резко обрывались чернотой залива, а с другой им не было конца, они распылялись хвостом кометы, теряясь в ночи. На реактивной высоте, откуда все кажется крохотным, Сидней оставался большим, чересчур большим, непонятно большим. Сверху разобраться в этом было нельзя. И когда в другой раз мы подлетали к Сиднею днем, красный черепичный прибор его крыш поражаля размерами. С земли Сидней выглядит иначе. Он низкорослый, состоящий из двухэтажных коттеджей, и лишь центр несколько выше. Город как бы сплюснен, раскатын, как блин. Он беспорядочно составлен из тех же коттеджей, прослоенных неизменными садиками. Поэтому город разросся невероятно. Расстояния в двадцать – тридцать километров от дома до работы считаются здесь обычными. Сложность такой жизни стала нарастать в последние годы. Город хочет расти в высоту. Слово фонтаны из бетона и стекла, прорываются вверх высотные дома. В прорывах еще нет системы. Они беспорядочны, как гейзеры. Рядом с новыми громадами коттеджи становятся милым прошлым. В деловых кварталах солидные, облицованные мрамором банки, офисы, построенные каких-нибудь сорок – пятьдесят лет назад, выглядят старообразно. Процесс старения происходит ускоренно, Сидней обзаводится своей стариной, появляется старый Сидней. Загадочная штука эта старина. Почему-то старинный дом всегда считается красивым. Мне никогда не попадалось, чтобы храм, допустим тринадцатого – четырнадцатого века, был уродлив. Он обязательно – великолепный, изумительный, гармоничный. Как будто тогда не существовало бездарных архитекторов. Никому не приходит в голову, что Колизей был когда-то новостройкой и древние римляне поносили последними словами этот стадион за модерновость, или излишества, или подражательство – смотря по тому, какая тогда была установка.

Но пока что в Сиднее нет настоящей музейной старины, и этим он мил и отличается от всех других великих городов мира. Никаких раскопок, храмов, фресок, старых костелов, исторических мест. Поэтому Сидней не имеет перечня обязательных

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru памятников для осмотра. В Сиднее я впервые избавился от страха что-то упустить, чего-то не увидеть. В Сиднее можно не толкаться по музеям, Сидней свободен от процессий туристов, листающих путеводители, гидов с микрофонами, от исторических ценностей, восторгов, императоров, классиков и цитат. В Сиднее надо просто бродить по улицам, магазинам, сидеть в баре, знакомиться.

Человек городской, питерский, я сразу признал Сидней своим. Это город, что называется, с головы до пят; на его улицах, в порту среди докеров, в кварталах Ву-ла-Мулла мы чувствовали себя свободно, мы подпевали его песенкам, смеялись шуткам. Сидней стал нашей слабостью. Мы принимали его пусть поверхностно, пусть некритично, но таким мы увидели его, таким он остался в памяти. Наконец, именно такой Сидней показывали нам наши друзья-сиднейцы, пожизненно и жаростно влюбленные в свой город.

Рядом с нашим отелем строился дом. Площадка была огорожена глухим забором, в заборе были пропилены квадратные окошечки. Я долго не мог понять их назначения. Иногда прохожие совали туда головы. Однажды я спросил у Моны Бренд, в чем тут дело.

- Видишь ли, сиднейцы ужасно любопытны. Раз есть забор, они обязательно хотят выяснить, что за забором. Кроме того, сиднейцы любят вмешиваться, подавать советы, поэтому для удобства сделали окошки. И надпись, видишь: "Для советчиков".

Сидней – это целая страна, еще малоизученная. Мы как-то шли с Моной и совершенно случайно обнаружили метро. Мона, которая обожает свой город, обрадовалась чрезвычайно. Она не могла скрыть удивления, когда мы спустились вниз и поехали на подземке. Открытие нисколько не смутило ее, – никто не может похвастаться, что знает Сидней. Мы ехали однажды с Терри в машине, и я, заметив посреди площади конную статую, попробовал выяснить у Терри, кто это. Надо было видеть физиономию Терри, когда он, притормозив машину, с глубоким интересом оглядел памятник. Еще некоторое время он ехал задумавшись, потом уверенно сказал:

- Я полагаю, что это какой-то король.

Ручаюсь, что он видел этот памятник впервые. Он слишком хорошо знал свой город, чтобы его могли интересовать детали. Он не знал, кому памятник, но зато он знал каждого газетчика, бармена, хозяев магазинчиков, – кажется, он знал всех сиднейцев. Впрочем, когда я присмотрелся, оказалось, что вообще все в Сиднее знакомы между собой. Чтобы вступить в разговор, не нужно никакого предложения. Разговор начинают с середины, как закадычные друзья. Я стоял днем на Кинг-Кроссе и фотографировал. Мужчина, несший на голове ящик, остановился и сказал:

- Чего ты тут нашел, приятель? Только зря пленку изводишь. Здесь лучше вечером снимать. Господи, сразу видно, что приезжий. Откуда? Ого, из Москвы! А я, между прочим, из Шотландии. Коплю деньги, хочу съездить, я ведь мальчишкой из дому уехал. Что ни говори, все же родина. Согласен?

- Конечно, – сказал я.

- Послушай, ты мне нужен – посоветоваться. Может быть, мне лучше в Москву поехать? Посуди сам, чего я дома не видел? А про вас столько болтают, и все разное. Надо самому разобраться. Согласен?

- Тоже правильно.

- Опять ты соглашаешься. Черт возьми, это же серьезное дело, я четыре года коплю. Пока у меня нет детей, надо ездить. Потом не сдвинешься. Надо бы толком обсудить, да некогда мне. Прошу тебя, перестань пленку тратить! Приходи сюда вечером, упрямая твоя голова, тогда убедишься, кто прав.

И зашагал дальше, придерживая ящик на голове.

Обычная наша сдержанность бросалась здесь в глаза, выглядела нелюдимостью. Мне хотелось научиться вот так же, с ходу открываться людям, не требуя взамен ничего, и не бояться того, что покажешься бесцеремонным, или назойливым, или смешным, – ничего не бояться.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru  
В Сиднее любят сочинять песенки, дерзкие и насмешливые, критикуя городские власти.

Лично нам они не причинили никаких неприятностей, но все равно нам было приятно чувствовать себя вместе со всеми бунтовщиками, непокорными, вольнолюбивыми сиднейцами.

Поют о здании оперы, которое строилось бог знает сколько лет, о сиднейских девушках, о пивных, о железной дороге, о домах Вула-Мулла.

Власти задумали снести старый рабочий квартал Вула-Мулла и построить там какие-то казенные здания. Домишки немедленно ошетинились, украсились язвительными надписями. Каждый дом это эпиграмма в адрес властей. Огромные буквы вьются между окон, изгибаются над дверью: "Пожалуйста, мы уедем отсюда в ваш особняк, господин министр!" Предместье подняло войну с властями: "Не желаем!", "Не уедем", "Плевали мы на ваши постановления!", "Только троньте нас, проклятые спекулянты!".

Если что-то исходит сверху, от властей, это уже плохо. Сиднейцы терпеть не могут всякие предписания и распоряжения. Подчиняться им? Ни за что! Раз это делают они, значит, сиднеец против.

Женщина с мокрыми, красными от стирки руками вышла на крыльцо и сказала нам вызывающе:

- Да, дух каторжников! А мы не стыдимся своих предков. Буржуи - те стыдятся. А мы гордимся. Сюда ссылали бунтовщиков, а не воришек.

Насчет бунтовщиков - не знаю, но ссылали сюда главным образом бродяг - разоренных ремесленников, согнанных с земли английских крестьян, осужденных за бродяжничество.

Дух каторжников... Забылось, что и впрямь еще каких-нибудь полтора века назад этот город начинался как место поселения ссыльных.

В 1788 году английские корабли высадили первую партию ссыльных. На лесистом берегу будущего Сиднея 850 человек начали строить жилища и каменный дом губернатора новой колонии. В одной из старых книг я нашел описание Сиднея 1826 года, с его нравами и разделением на ссыльных "отпущенников", то есть уже освобожденных, и ссыльных, продолжавших отбывать свой срок, на свободных колонистов, на правительственных чиновников.

Уже тогда город показался Дюмон-Дюрвилю, капитану французского флота, совершенно европейским - "где корабли, магазины, укрепления, улицы напоминают Англию".

Уже тогда - "большая часть домов разбросана, разделена дворами, огородами, и поэтому Сидней занимает обширное пространство. Строения почти все в один и два этажа. Улицы прямые, с приличной шириной...".

Поразительно, до чего неискореним оказался этот изначальный характер города. Сидней относится к тем счастливым городам, которые рождаются с готовым характером, и десятилетия, столетия ничего поделаться с ним не могут. Таковы Ленинград, и Одесса, и Севастополь, и Веймар, самые разные города, - они словно подчиняются законам природы для живых существ: как родился голубоглазым, так на всю жизнь.

Конечно, за полтора века Сидней разжирел, отстроился, приукрасился. Роскошные универмаги его не уступают американским. Появились парки, фонтаны; уличные кафе уставлены старинными белыми креслами - как в Париже, стилизованные деревянные домики-магазины в центре - как в Шотландии, и тем не менее его всегда можно будет узнать, отличить от всех других городов.

Его глубокий голубоватый залив с цветными парусами, катерами и акулами. Огромные пляжи и маленькие пляжи-купальни, огороженные сетками от тех же акул; его большущий порт, мускулистые докеры с их тяжелой походкой и неторопливыми движениями. Печальный пустой центр Сиднея в воскресные дни. Его ритм, - в Сиднее нам всегда было некогда, там мы двигались быстрее. Сидней - там чаще смеешься и громче говоришь, там понимают с полуслова, там готовы подшучивать над чем

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
угодно, там все кончается смехом или забастовкой...

Описывать перечисляя – приятное занятие. Мне всегда нравились перечисления: припасы, инструменты, животные, трофеи. Беда в том, что перечисление – слишком легкий способ изложения. Он хорош для записной книжки, не больше.

Сидней можно перечислять по-всякому, у каждого свой перечень. И даже из моего перечня для человека, знающего Сидней, возникает совсем иной город. Впечатление находится между строками перечня. Я увез свой Сидней, совсем другой, чем Оксана, и не похожий на Сидней Терри Рэни. Мой Сидней – всего лишь впечатление. Ни на что большее я не претендую.

Впечатление хорошо тем, что это неуязвимая штука. Я могу написать: "Сидней мне показался самым живым и энергичным городом Австралии" – и ничего не возразишь. Показался, и все тут. Но попробуй я написать, что Сидней – самый живой и энергичный город, тут меня уличат и опротестуют, и пропала моя дружба с мельбурнцами.

Или, например: "Мне нравится, как ходят девушки по улицам – в коротеньких шортах, босиком".

Ну и что, скажу я редактору, разве я пропагандирую? Я ведь говорю, что это мне нравится, я обнаруживаю лишь собственную безнравственность.

И кроме того, это будет правдой, – у меня гораздо больше впечатлений, чем сведений. Я не хочу утверждать, что впечатления – более ценная вещь. Вряд ли. Они слишком субъективны, они зависят от настроения, предрассудков. Я хотел бы описать Сидней беспристрастно и обстоятельно, как умели делать путешественники девятнадцатого века. Читая книгу Дюмон-Дюрвиля, я наслаждался подробностями обстановки, костюмов, описаниями зданий и умением видеть издали, в пространстве и во времени.

"Не заботясь о будущем, колонисты уничтожили леса, окружавшие город, и поэтому вид его печален и открыт. Несколько лет, как насаждают европейские деревья, но они растут тихо и часто изнемогают на здешней горячей и дикой почве".

Путешественник в те времена старался описать все, что может составить картину той жизни, так, чтобы потомки и через сто и через двести лет могли представить ее наглядно. Он уважал свой век, считал его значительным, ценным для истории, кроме того, он чувствовал лично себя как бы ответственным перед будущим. Сейчас это качество в значительной мере утрачено. Мне не приходит в голову описывать общий вид Сиднея, из какого камня там строят дома, есть ли там трамвай, как устроены магазины. Мне кажется, что все это уже описано другими, и сами сиднейцы это опишут лучше, а кроме того, есть кино, фотографии, газеты, они зафиксируют, они дополняют. А они, между прочим, и не фиксируют.

В роскошных фотоальбомах о Сиднее – парадные архитектурные ансамбли, знаменитый Сиднейский Мост, центральные улицы, ботанический сад. Но зато там пет домишек Вула-Мулла, нет крохотных садиков, дымных пивных, китайских ресторанчиков, нет субботней торопливой толпы в универсамах, когда цены снижаются на шиллинг, нет того, что составляет быт города. Точно так же, как и в наших фотоальбомах не увидишь базара, тесно заставленной коммунальной кухни, старых дворов с дровяными клетками, очереди у филармонии, очереди за луком – никаких очередей, любые очереди считаются чем-то зазорным и недопустимым.

Не типично, не отражает, – может быть, оно и так, по тем более, раз это уходит в прошлое, оно должно сохраниться в документах, описаниях, фотоальбомах: вот как мы жили, и так жили и этак, по-разному жили. Попробуйте сегодня рассказать о годах первых пятилеток. Где, в какой истории есть фотографии очередей за хлебом, карточек, торгсинов, но ведь это тоже было бытом. Даже из газет того времени ничего не вычитаешь об ордерах на рубашку. Так и сегодня из газет не узнать о том, как хоронили Пастернака, и о том, как выглядела в 1965 году служба в церквах.

Иногда мы не пишем об этом только потому, что нам кажется, будто все это и так знают. Путешественник обладает совсем иным виденьем. Вот почему одно из лучших описаний Сиднея сделал француз Дюмон-Дюр-виль. А Англию так прекрасно описал Карел Чапек. А Ирландию – Генрих Бёлль.

- Вы будете писать о Сиднее? - спросили нас журналисты.
- Обязательно, - сказал я. - Наверное, мне не избежать клюквы и всяких ошибок, наверное, многое будет наивным, но, может быть, там будет и что-то интересное - Сидней, каким он видится человеку другой, совсем другой страны.
- А о чем конкретно вы напишете?
- О Кинг-Кроссе, о стомпе, о докерах...
- А про наш мост? Обязательно напишите про наш мост. Что это будет за рассказ о Сиднее, если там не будет моста.
- Ладно, - сказал я. - И про мост. Но боюсь, что из этого ничего хорошего не получится.

У первого впечатления свои законы. Ему отпущено точное время, - еще немного, и оно скиснет, свернется, дальше начинается знание, неполное, куцее, от которого одно расстройство.

Нас пригласили в сиднейский Новый театр. Через слабо освещенный подъезд мы поднялись в фойе - бедное, никак не обставленное, зрительный зал напоминал сарай, лампы свисали с голых стропил, освещая плохо побеленные кирпичные стены. Шла пьеса местного автора - чуть под брехтовскую "Трехгрошовую оперу", про гангстеров, трусливых и жалких. Играли хорошо, а нам казалось, что играют превосходно. Мы хлопали изо всех сил, и дешевые стулья пронзительно скрипели под нами. На тесной сцене вздрагивали фанерные декорации, и они казались нам трогательными. Объяснялось все просто: мы знали, что театр построен рабочими Сиднея, на их деньги, делали сцену и это фойе коммунисты и их друзья. Артисты труппы играют бесплатно, театр существует на энтузиазме. Плата за билеты еле покрывает расходы по аренде помещения. Все остальное - декорации, костюмы делает сама труппа.

На третьем, четвертом спектакле убогие декорации нас бы уже не растрогали, мы заметили бы неровный состав участников, и скрип стульев мешал бы нам, но я не знаю, было бы ли это большей истиной, чем наше первое впечатление.

МОСТ

1

Был прекрасный летний вечер, когда рейсовый самолет компании ТАА совершил посадку в сиднейском аэропорту. В толпе австралийцев выделялись небритый хмурый господин с невысокой черноволосой женщиной. Легкий акцент выдавал в ней иностранку. Господин не обладал никаким акцентом, поскольку он не говорил по-английски. Полицейский, стоявший на площади, не обнаружил ничего подозрительного в этой группе встречающих, которые приветливо похлопывали иностранцев и несли их сумки. Иностранцы устало улыбались. Перед нами открыли дверцы новенького красного "холдейна".

- В отель! - зачем-то громко сказал огромного роста мужчина, и глаза его загадочно блеснули.

Машина рванулась и помчалась к Сиднею.

2

Темнота скрывала лица спутников. Ничем не выдавая себя, они расспрашивали о полете, искусно ведя непринужденный разговор. Иностранец устало отвечал, а иностранная женщина, чью бдительность усыпила иностранная веселость, беспечно смеялась.

- Отель! - сказал кто-то. Слово это иностранец понимал. Запекшиеся губы его дрогнули в слабой мечтательной улыбке.

- Слава богу, наконец-то, - сказал он. Ответом ему был зловещий смех. Машина, не замедляя хода, мчалась дальше.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

- Куда вы? Остановитесь! - воскликнул он.
- Как бы не так, - процедил огромный мужчина.
- Что это значит? - крикнул иностранец.
- А то, что отель мы проехали, - последовал хладнокровный ответ.
- Куда же вы нас везете? - в ужасе воскликнула иностранная женщина.

С переднего сиденья к ним обернулась местная женщина. Во тьме белело ее прекрасное лицо, но сейчас оно было холодно и жестоко.

- К мосту.
- Какой мост, не нужен мне мост, я хочу в постель! - С этими словами иностранец пытался выпрыгнуть из машины, на него навалились, последовала короткая борьба, и он затих.

3

Напрасно иностранная женщина молила о пощаде - похитители были неумолимы, куда девалась их недавняя любезность!

На перекрестке машина остановилась, пережидая сигнал. Иностранцы закричали что-то среднее между русским "караул" и "help out". В соседних, рядом стоявших машинах люди оборачивались, подмигивая друг другу.

- А, иностранцы! К мосту везут, сердешных? Смотри, пихаются. Держи его шибче. Ишь дикарь, убежать хотел. Утописты.

- Слушайте, слушайте, - сказала еще недавно прекрасная местная женщина, - слушайте, что говорит народ. Смиритесь. Таков закон. Лучше смотрите, о чужеземцы, вот он - наш Великий Мост!

Ужасная бледность покрыла лица иностранцев. Машина двигалась в стальном коридоре конструкции. Несчастные потеряли счет времени. Где-то внизу сверкала начищенная до глянца вода залива. На другом берегу машина повернула обратно.

Хозяева молитвенными голосами принялись исполнять славу своему мосту. Стало ясно, что пленников будут продолжать возить по мосту, пока они не сдадутся.

Мужество покинуло иностранцев. Глухими голосами они поклялись, что:

- 1) Сиднейский Мост самый висячий и при этом самый длинный и красивый мост в мире;
- 2) мельбурнцы клеветают, называя его вешалкой, у них самих мост самый дрянной из всех мостов;
- 3) Великий Сиднейский Мост необходимо еще будет осмотреть днем, на рассвете, на закате и при солнечном затмении;
- 4) в течение всей оставшейся жизни иностранцы, где бы они ни были, обязуются хвалить Мост, рассказывать про Мост, описывать Мост;
- 5) они видели своими глазами, что Мост имеет два трамвайных пути, два железнодорожных, проезжую часть в шесть рядов автомашин, обзорную вышку и сетку для самоубийц;
- 6) все вышеизложенное заявлено совершенно добровольно, по глубокому внутреннему убеждению.

После этого пленников заставили несколько раз воскликнуть: "Спасибо, что нас сюда привезли!", "Страшно подумать, если б мы его не увидели!", "Какое счастье иметь такой Мост!".

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Если в этой истории что и преувеличено, то самая малость. Я понимаю, что у каждого города есть своя слабость, но хуже всего, когда это мост, да еще такой длинный. Пока по нему идешь, забываешь, зачем ты отправился на тот берег. Построив мост, Сидней залез в долги, с каждой проезжающей машины взимают шиллинг, и неизвестно, когда это кончится. Мост постоянно красят. Пока доберутся до конца, начало уже облупилось. У парней, которые висят в люльках с кистями, были счастливые, спокойные физиономии. Работа им обеспечена пожизненно.

Как-то под вечер, блуждая по Сиднею, мы вышли к заливу. Набережных в Сиднее нет. Город повернулся спиной к воде. Берег был застроен угрюмыми пакгаузами. Вдали мы увидели мост. Он был удивителен. Он поднимался над заливом, как глубокий вздох. В глубоком облаке света он парил среди грязноватых скучных берегов. Дуга его вздувалась стальным бицепсом. Он был бы еще краше, если б им не заставляли любоваться. Красоту лучше открывать самому. Но тут же я вспомнил, как сам вожу по Ленинграду гостей и заставляю их любоваться Невой, дворцами и требую похвал. Зачем мне это нужно? До чего ж мы все одинаковы! Это не бог весть какое открытие обрадовало меня, я находил в нем даже что-то замечательное: за столько тысяч километров люди подвержены тем же слабостям, так же наивны и тщеславны. Очень приятно. Ничто так не сближает, как слабости. Хитрость в том, чтобы искать их не у других, а у себя. Честно признаваться в них – вот что оказывается почему-то самым сложным.

КИНГ-КРОСС

1

"Он нетипичен для нашего города, – объясняли нам, – нельзя судить о Сиднее по этому проклятому Кинг-Кроссу".

Кинг-Кросса почти стыдились, о нем избегали писать, не любили говорить. Нас просили не ходить на Кинг-Кросс, не советовали – не то чтоб там было что-то такое, просто не стоит тратить времени.

Иногда вечером мы проезжали Кинг-Кросс. Там было много народа и много света. Казалось, что-то происходит на этой улице. Гуляние? А может, киносъёмки? Чем-то отличался ее густой, тягучий людской поток от обычных прохожих. Меня всегда привлекали двери с надписью: "Посторонним вход воспрещен". Мало того, что я неисправимо любопытен, я еще терпеть не могу запретов. Наверное, Лен Фокс страдал той же болезнью – он подмигнул нам, и при первом удобном случае мы отправились на Кинг-Кросс.

Мы двигались, не торопясь, в плотной толпе, разглядывая встречных, и встречные разглядывали нас. Это не было ленивым любопытством театральных фойе. Что-то связывало толпу. Она не гуляла, она была чем-то занята.

Сама улица скрывалась за ослепительным светом. Освещение было настолько пронзительным, что создавало ощущение события. Как ночная игра на стадионе. Как праздничная иллюминация. Дома были плотно начинены всевозможными кабае и рестораниками. Узкие спуски в подвальные пылали щитами с цветными фото стриптизов. Сквозь открытые двери баров блестели стойки, миксеры и прочая аппаратура для коктейлей. Подмигивал русский рестоан "Балалайка". За стеклами кафе в зеленоватом свете, как в аквариуме, скользили пары. А были сидящие неподвижно над рюмкой, естественные, как манекены.

В небе мчались, плясали слова реклам, вспыхивали вывески ревю, над ними светились обнаженные груди девиц всех мастей, прозрачные прекрасные груди, и длинные голые ноги. Перед ними кружились, толпились пятнадцатилетние юнцы и постарше, причудливо разнаряженные, в алых рубахах, в черных трико, бородатые, в больших черных очках, мелькали какие-то типы с накрашенными губами.

На углу стояло нечто диковинное – существо с красивой золотистой косой и золотистыми усами. Я подошел ближе. Коса была натуральная, пышная, усы тоже натуральные, только закрученные. Остальное составляли черная рубаша, черные джинсы, внутри которых разместился здоровенный парень. Его толстая заплетенная коса лежала на плече. Он обнимался с коротко остриженной девушкой. Тут я стал замечать, что он не одинок: как на старинном маскараде, мимо двигались и другие парни с буклями, женскими прическами. Парни шли с отличными девушками, стриженными по-мужски; волосы их были раскрашены в розовое, голубое,

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru зеленоватое. Проститутки совершенно терялись в этой толпе. Шныряли продавцы чего-то, шептались в подъездах о чем-то, кто-то зачарованно столбенел у витрин, кругом пили, курили, и все это колыхалось, мельтешило, как облако вечерней мошары. Музыка ресторанов, транзисторов, радиол складывалась в общее завывание. В теплоте вечера плыли запахи бензина и косметики. Все было насыщено блеском глаз, жадной каких-то встреч, приключений, ожиданием необычного.

По мостовой так же слитно двигалась толпа машин. На перекрестке, огибаемый потоками авто, стоял полицейский. Толпа скапливалась у перехода, ожидая сигнала. Кто-то поторопил полицейского, и тот нахмурился. С другого угла крикнули:

- Душечка, тебе там не скучно?

Полицейский рассвирепел, и это подзадорило шутников. Выкрики полетели в него с обеих сторон. Видно было, как челюсти его сжались, он стоял недоступный, защищенный идущими машинами, олицетворение власти, и не пускал толпу. Ему хватило бы машин, чтобы держать нас часами. Перекресток вопил, народу прибывало, теперь полицейский усмехался, он наглядно показывал могущество диктатуры.

Наконец кому-то удалось его рассмешить, полицейский поднял руку, машины остановились, все закричали "ура!" и бросились на мостовую на другую сторону улицы в погоне за чем-то.

Я тоже спешил и оглядывался - мне все время казалось, что где-то рядом что-то произошло, а может, именно сейчас происходит - впереди, за спиной, в переулке за углом.

Кинг-Кросс существует не для увеселения туристов, это не парижская площадь Пигаль. Кинг-Кросс сам для себя. Чьи-то подведенные глаза следят из-за стекла. Старуха, свесясь из окна, часами завороченно смотрит на безостановочное кружение.

Город давно опустел, заперся в коттеджах, уткнулся в пухлые, по пятьдесят страниц газеты, в телевизоры, и остался только Кинг-Кросс, единственный, кто хоть как-то утоляет жажду общения.

Время от времени нам попадалась пара - босая девушка и парень в деревянных сандалетах. На груди у него висел транзистор. Они шли обнявшись, слушали музыку и глазели по сторонам. Между собой они не говорили. Лица их были безмятежно довольны. Транзистор и Кинг-Кросс освобождали их от необходимости развлекать друг друга.

Я представил себе, как они встречаются здесь по вечерам и гуляют, часами не обмениваясь ни словом. Иногда идут в кино, там тоже не нужно говорить. У телевизора тоже сидят молча. Вряд ли они приступали к разговорам в постели. Им незачем утруждать себя искать тему разговора, нужные слова, интонации.

На Кинг-Кроссе разговаривать некогда - боишься что-то пропустить - и думать некогда. Мелькание лиц, реклам, вывесок. И ведь вроде бы живешь, бурно, ярко, в длинной возбужденной толпе, - они-то ведь недаром здесь, что-то, значит, происходит, должно происходить. Живешь всю - глазами, ногами, что-то жуешь, пьешь, куришь. Участвует все, кроме головы. Как будто ее нет. Она не нужна. Очень удобно, а главное - современно. Можно ни о чем не думать. Глотаешь пустоту. Великолепно оформленную пустоту.

2

В центре Кинг-Кросса сверкала большущая вывеска "Стомп". Я посмотрел на Оксану. Она не знала, что это значит. Лен засмеялся и успокоил ее. Ни в одном из английских словарей еще не было этого слова.

- Зашли? - подмигнул он.

И мы зашли.

Потолок, стены огромного дансинга терялись где-то в синеватой мгле. На высокой эстраде, сбоку, работало четверо парней. Они играли почти непрерывно. Рубашки их потемнели от пота. Подменяя друг друга, они выбегали к микрофону и яростно

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru выкрикивали – слов не было, один ритм, хриплый, укачивающий ритм. Внизу сотни людей танцевали. Танец назывался "стопп". Танцевали как будто парами, но это не были пары. Каждый танцевал сам по себе. Танцующие топтались, покачиваясь из стороны в сторону на расстоянии нескольких шагов друг от друга, топтались и больше ничего, иногда они теряли партнера в толпе и не искали его, возможно, они и не замечали его отсутствия. Танец одиноких, им не нужен был партнер. Каждый танцевал сам для себя, полузакрыв глаза, уйдя в полузабытье. Большинство составляли подростки пятнадцати – семнадцати лет. Девочки скидывали туфли, некоторые были в брюках, в шортах, не существовало никаких ограничений. И при этом танец был лишен секса, в нем не чувствовалось ничего эротического, ничего волнующего. Пожалуй, эта бесполость больше всего меня огорчала. Наши ханжи – и те бы растерялись. Никакого смысла я не видел в таком танце, скорее он походил на какой-то религиозный обряд. Стопп почти не требовал умения, не было пар, выделявшихся искусством. Волнообразно и одинаково они раскачивались в такт набегающему ритму. Порой из толпы выходили, садились за столиками рядом с нами, и я видел, как постепенно лица их освобождались от стоппа, начинали улыбаться, становились разными лицами обычных мальчиков и девочек. Они пили лимонад, пиво и даже ухаживали друг за другом. А на синтетической подстилке однообразно колыхались лишённые примет тела.

– Ну и танец, – сказал Лен. – Ни прижать, ни обнять. В чем тут смысл?

Лен тоже впервые попал сюда. Дези пожала плечами:

– А они и не ищут смысла.

– Чего ж они ищут?

Дези прищурилась:

– Может быть, они хотят потерять себя? Дези была артистка. Она сама иногда ходила сюда потанцевать и знала этих ребят. "В ваши годы, – сказала ей одна из девочек, – в ваши годы танцевали буги-вуги и рок, а мы танцуем стопп, у нас свои танцы". Имея двадцать три года, Дези была снисходительна.

– Видите, у них все свое, – сказала она. – Они не желают ничего нашего. Парни будут ходить с косами, девочки будут делать зеленые брови, лишь бы не так, как старшие.

Похоже было, что в чем-то она права. На эстраде по-прежнему надрывались, хрипели четверо парней, они грубо подражали битлзам. Настоящие битлзы, те ребята из Ливерпуля, вряд ли представляли себе, что вырастет из их славы.

Внизу так же топтались с одинаково отрешенными лицами, полузакрытыми глазами, почти не двигаясь с места. Танцевали только стопп, все время стопп.

Слова Дези не выходили у меня из головы. Потерять себя но зачем? Она не могла мне это объяснить. А может быть, я не мог понять ее? Лен тоже не все понимал.

– Как же так, – сказал я Лену. – Ты коренной сиднеец, к тому же ученый, они росли у тебя на глазах... Лен развел руками, а потом рассвирепел.

– У себя ты все можешь объяснить?

Мы вышли из дансинга на Кинг-Кросс.

Сидя на панели, какой-то сумасшедший поэт продавал свои книжки и, завывая, нараспев читал стихи. Ночь выжимала из города диковинных типов. Какое-то отребье выпадало из ночи, как осадок; они кружились и кружились, как мусор в центре воронки.

3

На дверях белого домика висел картон: "Коммуна Ван-Гога". По лестнице поднимался босой, разлохмаченный парень.

– Привет. Как поживаешь? – окликнули мы его, принаравливаясь к манерам истых австралийцев.

Нижняя комната была пуста, там висели картины. В верхней стояли койки и тоже висели картины.

Вскоре комната наполнилась парнями и девушками. Я знал только Дениса – отличного молодого австралийского поэта. Кроме него, пришли художники-абстракционисты не из этой коммуны, артисты, какой-то веснушчатый миляга, которого все звали Космос, он писал и работал грузчиком, какой-то молодой юрист. Они рассаживались вокруг нас на полу, на кроватях с таким видом: ну посмотрим на это представление, что нам покажут советские коммунисты, которых привел сюда австралийский коммунист, готовься, ребята, к агитации. Сейчас нас начнут вербовать.

А нам некогда было их агитировать, нам хотелось узнать про их коммуну, про молодую живопись Австралия. Я стал их спрашивать и сам не заметил, как начал отвечать, – они закидали меня вопросами про заработки художников, про выставки, а потом про МХАТ, про Брехта, про разводы и свадьбы. Повторилась обычная история, всякий раз я попадался на эту удочку. На любом приеме, встрече австралийцы ловко, как в серфинге, после двух-трех минут серьезного разговора – больше они не выдерживали – соскальзывали в шутку, анекдот и сами начинали меня расспрашивать, и дальше я уже не мог выбраться из-под вороха их вопросов. Но тут я заупряился.

– Какого черта, – сказал я. – Кто к кому приехал? Кто из нас гость?

В самом деле, когда к нам приезжают иностранцы, они нас расспрашивают, когда мы приезжаем за границу – опять нас расспрашивают.

– Ладно! Сдаемся! – Они подняли руки вверх. И я потребовал, чтобы они выложили мне свое мнение про стомп и Кицг-Кросс.

Я и сам толком не мог им объяснить свои сомнения. Но мне претило пользоваться шаблонными схемами, которые валяются под рукой. Обличать Кинг-Кросс было проще простого. Сами сиднейцы не рвались защищать его. О нем говорили неохотно: "квартал богемы", "злачное место", "контрасты большого города".

– Нет, – сказал я. – И что-то еще там есть.

– Что?

– Не знаю, я не понял. Наверное, я что-то пропустил.

Они переглянулись, заулыбались:

– Это всем так кажется.

"Может быть, в этом-то и все дело", – подумал я, но не спросил, потому что они в это время говорили про стомп.

– А что можно предложить этим ребятам взамен стомпа? говорили они. – Религию? Наживу, бизнес? Они бунтуют против обывательщины. Бунт – ничего другого у них нет. Бунт без особых идей. Всякие идеи, поиски смысла жизни, идеалы изуродованы ложью, об этом не хочется и думать. У них примерно такие рассуждения: лгите друг другу без нас. Мы не участвуем в ваших играх. Изменить в этом мире ничего нельзя. Мы ничего знать не хотим, мы не протестуем, не переживаем. Мы ни при чем, нас нет, мы танцуем, оставьте нас в покое.

Перед отъездом, утром, я отправился на Кинг-Кросс. Я никак не мог его найти. Пройдя несколько кварталов, я повернул назад, ничего не понимая.

Зеленщик развешивал над прилавком связки ананасов.

– Это и есть Кинг-Кросс, – сказал он мне.

Но это не был Кинг-Кросс. Ни кабаре, ни стриптизов, ни ревю, – была самая обыкновенная, невзрачная улица с низенькими облезлыми домами. Стояла очередь на автобус из добропорядочных клерков. Шли хозяйка с сумками, шел старенький патер, в кафе бойскауты пили оранжад, под тенью маркиз инвалид листал газету. Напрасно

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru я вглядывался в лица деловитых прохожих. Они прикидывались, что они не те. Они делали наивные глаза, никто ничего не помнил, и знать они не знали, их ни в чем нельзя уличить. "Полтора шиллинга лучшие огурцы", "Рубашка одиннадцать шиллингов. Пожалуйста, рубашка "dripdry" - ее не нужно гладить. Она не изменится, быстро высохнет...".

И никаких других обещаний.

Случайно наверху, над крышами домов, я различил железные каркасы ночной рекламы. Они чернели навывлет, как рентгеновский снимок. Единственная улика. По куда же делось все остальное, весь блистающий вечерний мир? Куда девались те парни и девушки, и где эта манящая суতোлка огней? Куда исчез Кинг-Кросс? Существует ли он? Был ли тот первый вечер и потом еще и еще?

В полдень мы улетели, поэтому больше ничего достоверного о Кинг-Кроссе я выяснить не мог.

## ПЕСНИ

Мы вышли на улицу после театра. Было половина двенадцатого ночи. Нам не хотелось домой, в гостиницу.

- А куда у вас, в Москве, можно пойти в это время? спросил Джон Хейсс. В тоне его не было никакого подвоха. Он спросил это совершенно простодушно, просто из любопытства.

Клем, который бывал в Москве, хмыкнул и стал раскуривать сигару. Мери тоже бывала в Москве, но она не курила и, улыбаясь, ждала, что мы скажем.

- Дорогой Джон, - сказал я, - приезжайте к нам, и вы не пожалеете.

- Какой блестящий ответ! - сказал Клем. - Как много ты узнал, Джон.

- Конечно, у нас нет стриптизов и всяких ночных кабаре... - начал я.

- Не расстраивайся, - сказала Мери, - и не обращай внимания на них, на этих диких австралийцев.

- Ладно, - сказал Клем, - так и быть, в следующий раз, когда мы приедем в Москву, может быть, ты действительно сможешь нас куда-нибудь свезти в двенадцать ночи. А сейчас поехали, и никаких вопросов.

Темный дом имел еще более темный вход. Мы ощупью двигались через какой-то зал с перевернутыми стульями, узкий коридор, мимо конторки, где сидели несколько парней. Клем о чем-то пошептался с ними, хлопнул одного из них по плечу, и тот повел нас дальше по каким-то переходам, потом вниз по крутой темной лестничке. Мы спускались и спускались, пока не очутились в слабо освещенном подвале. На полу сидели и лежали парни и девушки. Их было человек сорок. Курили, пили пиво, джус. Мы с трудом нашли себе место недалеко от маленькой сцены. Дощатый помост не имел ни занавеса, ни задника. Мы сели на пол, спутницы наши сбросили туфли, как все остальные женщины, и легли рядом. Это был самый обыкновенный подвал с худо выбеленными кирпичными стенами. И никаких украшений. Все выглядело подчеркнута просто, вызывающе просто.

Парень, который провожал нас, вышел на помост и объявил второе отделение. Его встретили аплодисментами. Он сел на стул, взял гитару и запел. Первая его песня не произвела на меня впечатления. Он пел почти без всякого выражения, рассеянно, словно думая о чем-то другом, как напевают про себя, когда никто не слышит. У него был красивый голос, но он не хотел им пользоваться. Потом он запел смешную песенку о девушках Брисбена, слушатели смеялись дружно, громко, ритмично, смех звучал как припев. До сих пор вызывающая убогость подвала и эти голоногие девушки и парни, потягивающие пиво, воспринимались мною как манерность, эстетство навыворот. Но они хорошо смеялись. А потом они перестали смеяться, когда Кивен Путч, так звали этого парня, запел, жестко спрашивая: что же вы сделали с миром? И это тоже было здорово, что они вот так вдруг замолчали.

Он спрашивал не их, скорее он вместе с ними спрашивал других. Песни были жесткие, одна жестче другой. Ничто не менялось в ленивых позах разлегшихся

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
парней и девушек. Никто не вскакивал, не сжимал кулаки. Но что-то происходило.

Еле заметно изменились лица. Стало чуть тише. Я попробую приблизительно передать  
текст одной из песен:

Вы, хозяева вони, Вы, кто покупает пушки, Кто продает самолеты и бомбы И кто  
прячется за спинами

рабочих,

кто прячется в офисах

за столами,

я хочу, чтоб вас знали.

Вы, которые сами никогда

ничего не создали,

Вы играете с моим миром

как с игрушкой.

А потом вы поворачиваетесь

и убегаете,

Когда пушки начинают стрелять.

Вы, как всегда, лжете

и обманываете,

Как будто мировую войну может

кто то выиграть,

И хотите, чтоб я поверил в это.

Я вижу вас насквозь

Ваши мозги за черепными

коробками,

Вашу кровь, как сточную

воду.

Вы прячетесь в ваших особняках

и ждете,

Чтоб наша смерть принесла

вам

Побольше прибыли.

Вы родили самый ужасный страх

Страх рожать детей.

Вы угрожаете моему ребенку,

Еще не рожденному.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Вы скажете, что я молод,

Но я знаю, что даже Христос

Не простил бы того, что

делаете вы.

Никакие деньги, никакие пожертвования

Не могут купить вам

прощения,

Когда смерть придет к вам.

Я надеюсь, что вы погибнете,

и скоро

я пойду за вашим гробом,

и буду следить, как вас уложат

в могилу,

и буду стоять, пока не увижу,

что вас зарыли.

Это грубый подстрочник. В оригинале это отличные стихи, песня с четкой мелодией. Больше всего я жалел, что у меня нет с собой магнитофона, простого, маленького, как фотоаппарат, магнитофона, чтобы потом можно было снова услышать этот вечер в подвале. Тогда вы могли бы понять, чем он отличается от любого нашего концерта.

У нас пропагандируют песни о мире, их поощряют, издаются песенники, выпускаются пластинки. У нас они исполняются повсюду, порой слишком часто. Для Кивена Путча его песни личный протест, их никто не поощряет, не пропагандирует, они не приносят дохода. Они звучат из подвалов, наперекор власти имущим, речам министров, всему тому, что зовется государственной пропагандой.

Он пел песни о забастовке стригалей, о Джоне, вернувшемся с войны: "Где твои ноги, Джонни, ты уже не танцуешь...".

Здесь песни борьбы за мир и звучат иначе, чем у нас. Они воспринимаются как поступок. В них слышен вызов, дерзость, они борются с приевшимися песенками, день и ночь журчащими по радио, телевизору, из сотен тысяч транзисторов, со всех эстрад кабаре, дансингов, на всевозможных шоу и ревю.

И аплодисменты тут были другие. Концерт кончился, мы вышли на улицу, подождали Кивена. На улице он выглядел обыкновенным парнем, никак не скажешь: это певец. Сколько раз я наблюдал превращение, которое происходит с артистом: только что он блистал на сцене, недостижимый, ни на кого не похожий, и вот он на улице, неотличимый от усталых прохожих.

Нас познакомили. Мы стояли, улыбались, хвалили песни, опять улыбались.

Было жаль расставаться, тем более что расставаться приходилось навсегда. В Австралии каждая встреча была единственной, каждое прощание - навсегда.

Кивен устал - в этот вечер состоялось два выступления. Был час ночи, и все же, нарушая все правила приличия, мы не хотели расставаться, у нас было такое чувство, что вечер не кончен. Надо доверять своему чувству, - оказалось, что и у остальных такое чувство, все обрадовались, и Кивен обрадовался, и даже наш чинный Джон Хейсс обрадовался.

- Поехали, - сказал Кивен.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Мы не стали его спрашивать, куда. Мы кружили за ним по пустым улицам Сиднея. Остановились у низкого темного коттеджа. Кивен постучал в окно, зажегся свет, замелькали тени. Кивен исчез, потом появился, мы пошли за ним.

Молодая женщина сворачивала матрац, на полу ее муж, огромный, о котором нельзя было сказать, чего в нем больше высоты или худобы, натягивал на себя рубаху. Ясно, что мы их разбудили. Они принимали нас мужественно, с тем гостеприимством, какое могут оказать очень хорошие люди, которых подняли с постели.

Парень протянул нам руку:

- Дейлин Эфлин.

Рука у него была огромная. У него все было огромное: рубаха, голос, черты лица, улыбка. Он был певец, так же как и Кивен. Жена его достала из шкафа все, какие были, бутылки с остатками вина, потом мы вместе с хозяевами принялись варить кофе, потом начались песни. Дейлин пел ирландские песни, песни пастухов, песни протеста. Это были песни против воинской повинности, против военщины, песни студентов, не желающих идти в армию. Когда Дейлин уставал, его сменял Кивен. Они пели разное, их нельзя было сравнивать и решать, кто лучше. Голос Дейлина был для площадей – медленный, мощный голос, который ничто не могло заглушить. Вдруг он запел наши советские песни. Мы пробовали подпевать ему, но где-то в середине оставляли его одного, поскольку оказалось, что ни одной песни мы не знаем до конца.

Джон Хейсс, как самый старший среди нас, сидел на единственном стуле. Джону было много за шестьдесят, и мы боялись его переутомить. Но он разошелся. Было три часа ночи, а он и не думал о сне. Он сидел сияющий и удивленный. За последние два дня его удивление нарастало. Он менялся у нас на глазах. Поначалу это был вполне уважаемый господин, который любезно сопровождал нас, как президент "Феллоушип" писателей Сиднея, он поехал с нами на собачьи бега, на которых он никогда не бывал, он вместе с нами впервые посетил Новый театр, потом этот подвал и теперь Дейлина. Он вдруг открыл для себя Сидней, о котором он и не подозревал, хоть прожил тут всю жизнь.

Кивен Путч, Дейлин, Рольф – в Сиднее появляется все больше таких певцов, выступающих во всяких рабочих клубах, кафе, подвальных клубах. Иногда они сами сочиняют песни, переключаются на музыку стихи австралийских поэтов.

В Перте мы познакомились с певцом Джозефом Джоном. Он подошел к нам на собрании писателей и подарил несколько своих пластинок. Посреди разговора Джозеф вдруг встал и запел во весь голос. Без аккомпанемента. Ни с того ни с сего. От полноты чувства. Вскоре мы привыкли к тому, что он может петь в любой обстановке, по первой просьбе и без всякой просьбы. Он пел за рулем в машине, он пел у себя дома и ночью в парке. Он пел песню в память Альберта Наматжиры, песни строителей, золотоискателей, песни солдат.

- Это ведь не совсем мои песни, – говорил он, – я пою то, что подслушал у костров, на дорогах страны.

Он был охотником, шофером, каменщиком, дорожником и всегда – певцом. Его очень интересовало, есть ли у нас что-то похожее. Я вспомнил Окуджаву, Городницкого, Матвееву, Высоцкого... Я сам не ожидал, сколько их набиралось, а скольких я не знал, только слышал песни где-то у лесных костров, под гитару, в субботних электричках. Я вспомнил свой разговор с одним очень известным, очень благополучным, очень круглым поэтом. С какой яростью он поносил эту бесприютную песню.

- Да, – вздохнул я, – конечно, есть... Джозеф не понял моего вздоха. Ну и бог с ним. Врать я не хотел, и правду говорить я тоже не хотел.

"ОДНОРУКИЙ БАНДИТ"

Джон Хейсс пригласил нас в свой клуб – пообедать. Представления о клубах у меня были случайные.

Я знал, что клубов в Австралии много, что они совсем не похожи на наши клубы.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Последнее подтвердилось немедленно, у входа в клуб, - меня не пускали без галстука.

- Ага, что я говорил, - сказал я, хотя ничего такого я не говорил.

Джон Хейсс виновато улыбнулся: дурацкое правило, но ничего не поделаешь - слишком уважаемый клуб.

Посредством улыбки Джон Хейсс мог выразить что угодно. Там, где другим нужен монолог, ему достаточно было улыбнуться, при этом его улыбка всегда оставалась доброй и деликатной. Имея такую улыбку, Джон не нуждался в переводчике. Я понимал его свободно. Будучи президентом "Феллоушип" писателей Сиднея, Джон Хейсс выходил на трибуну и улыбался, это заменяло вступительную речь. Допустим, я и преувеличиваю, но самую малость.

Итак, Джон Хейсс улыбнулся, а я развел руками. Галстука у меня не было. И в отеле, в чемодане, у меня не было галстука. Даже дома, в Ленинграде, у меня не было галстука. Так же как Джон провел свою жизнь в галстуке, так я провел ее без галстука.

Мне жаль было огорчать Джона, кроме того, мне хотелось посмотреть австралийский клуб, мы подумывали, не пойти ли нам купить галстук, но в это время портье сказал:

- Минуточку! - и вытащил из ящика связку галстуков.

Я плохо разбираюсь в галстуках, но я надеюсь, что таких страшных галстуков еще никто не носил. Совершенно одинаковые, вяло-рыжие, они не подходили ни к какому костюму, они были как возмездие за мою нелюбовь к галстукам.

Я сунул голову в петлю, портье затянул ее на моей шее и подмигнул:

- Не горюй, веревочная петля - хуже. Это меня утешило. Правила были соблюдены, мы могли войти в клуб.

Он занимал два этажа. В бильярдной джентльмены играли в бильярд, в читальне читали, в баре пили.

Клуб назывался клубом любителей-автомобилистов. Джон не был любителем и не имел автомобиля. Оказывается, это ничего не значило, Джон вступил в клуб потому, что ему нравился клубный ресторан. Впрочем, любителей-автомобилистов тоже принимают в этот клуб. Для вступления нужно получить рекомендации членов клуба и заплатить взносы. Кроме этого клуба, Джон - член еще двух клубов, также чем-то удобных ему.

Есть клубы рыбаков, журналистов, холостяков, спортивные клубы, женские. Нет ничего легче, как организовать новый клуб. Любой клуб - любителей бифштексов, любителей детективных романов, клуб глухих, клуб сторонников солнечных часов...

Приятней всего создавать клуб в знак протеста против старого руководства клуба, против казначея, против всякого руководства. Это всегда находит поддержку. Австралиец терпеть не может руководства - будь это председатель клуба, полицейский, министр, профсоюзный вождь - власть не бывает хорошей. Во всяком случае, поддерживать ее он не намерен, что бы она там ни делала. Попробуйте создать клуб по указанию сверху. Навязанное отвергается яростно, как насилие. Ни в одном клубе, ни в одном общественном заведении я не видел портретов главы правительства, министров, английского генерал-губернатора. Почтение к властям - признак дурного тона. Портреты английской королевы скорее привычка, чем любовь к монархии.

В ресторане у Джона Хейсса был свой любимый столик, официанты знали его привычки, его меню; пока мы обедали, его несколько раз вызывали к телефону - было известно, что с двенадцати до двух он находится здесь.

И этот клуб, и другие, в которых мы бывали, - довольно демократичные организации, они пользуются популярностью во всех слоях населения, можно посидеть в компании приятных тебе людей, встретиться с друзьями, член клуба имеет право пригласить гостей.

Рядом с рестораном помещалась небольшая комната, где стояли автоматы для игры в покер. Вечером мы ужинали в другом клубе, там тоже была такая комната.

Разумеется, я не мог удержаться и сыграл в покер с автоматом. Процедура была проста: я опустил в щель шиллинг, затем потянул рукоять на себя и отпустил. Завертелись диски с цифрами, замигали лампочки – ж-ж-ж-ж... и ничего. В зависимости от того, как совпадут цифры, можно выиграть фунт, десять фунтов, двадцать. Это по условиям, так сказать – теоретически. Я сыграл еще и еще. Казалось, что стоит немножко иначе дернуть рукоятку – и выиграешь. Не совпадает вроде чуть-чуть, всякий раз чуть-чуть...

Во время ужина то и дело кто-либо из пашей компании вскакивал и бежал в эту комнату сыграть с "одноруким бандитом" – такое прозвище у автоматов.

Прозвали их так недаром. Цены в клубных ресторанах дешевле, чем в обычных. Члены клуба получают скидку за счет прибыли от этих самых покер-автоматов. Но позвольте, ведь играют на них те же члены клубов? Совершенно верно, на первый взгляд это нелепость, на самом же деле – точный психологический расчет. Посетитель обычно рассуждает так: я сэкономлю на обеде три шиллинга, почему бы на них не сыграть. Играет, и снова играет, и проигрывает куда больше трех шиллингов. Никто не заставляет играть, можно просто съесть свой дешевый обед, но в том-то и дело, что большинство играет.

Нам объяснили механику этого хитрого расчета, объяснили, что львиная доля прибыли идет в карманы владельцев автоматов, объясняли, возмущались и, посмеиваясь над собой, уходили к автоматам.

Тут действовал тот же психологический трюк, что и в магазинах. В витринах цены выглядят так: "7 фунтов 19 шиллингов 11 пенсов". Неважно, что с восьми фунтов вы получаете сдачу всего один пенс, цена выглядит все же семь фунтов, а не восемь. И это действует не только на туристов, но и на самых коренных, тертых австралийцев. Большой медный пенс много весит во всех смыслах.

Я обратил внимание, что перед покер-автоматами сидят люди; они не играли, они наблюдали, как играют другие. Иногда они что-то записывали и следили внимательно, словно занимались научной работой. Они искали секрет автоматов. Что надо сделать, чтобы выиграть? Однажды такой способ был найден. Нам рассказали эту историю.

Несколько парней, потратив года полтора, научились поворачивать рукоять, получая выигрышную комбинацию цифр. Чуть на себя и обратно до еле слышного щелчка первого колесика, снова на себя и обратно, пока щелкает второе, и т. д. Они принялись посещать один клуб за другим. Выдаивали десятки, а то и сотни фунтов из автоматов за вечер. Над владельцами игральных машин нависла угроза разорения. Этим "доильщиками" выследили. Закрыли им доступ в клубы. Они уехали в Мельбурн. Там повторилась та же история. Доильщики переезжали из города в город, за ними следили фотографии, агентов. Владельцы автоматов объединились. Доильщики улетели в США.

Дело в том, что покер-автоматы – предмет национального экспорта Австралии. Ее, так сказать, вклад в технику развлечений. Австралийские автоматы установлены во многих странах. Охота за доильщиками перекинулась за океан. Надо было спасать репутацию игральным автоматов. Сложность заключалась в том, что все автоматы, установленные в разных странах, изготавливались по единой схеме. Окруженные со всех сторон, "доильщики" выдвинули условия капитуляции. Они сложат оружие за определенную сумму. Иначе они опубликуют свой способ для всеобщего пользования. То ли сумма была велика, то ли гарантии сомнительны, но сделка не состоялась, владельцы решили переделать все автоматы. Расписанная газетами история воодушевила многих игроков, и вот уже несколько лет они сидят перед новыми автоматами – ищут, изучают, исследуют.

Мысленно я пожелал им удачи. Что это такое, в самом деле? Стоит людям найти возможность собраться, общаться – глядишь, уже тут как тут: пристраивается паразит, извлекающий из этого деньги. И ведь нашлись инженеры, конструкторы, которые сидели, придумывали, рассчитывали, начинали автомат счетными устройствами, блокировкой, новейшей автоматикой, теми же узлами, которые применяются в счетных машинах.

"Однорукий бандит" не нападал из-за угла, не приставал к проходящим, он преспокойно расположился в отведенной ему комнате. Люди сами покорно приходили к нему и отдавали ему деньги. Они знали, что он бандит, грабитель, и все-таки шли. Не столько факт грабежа меня возмущал, сколько способ. Я почувствовал, как его рукоять зацепила и вытягивает из меня игрока, - где-то в подвалах моей натуры, оказывается, дремала эта порочная слабость - игрок, которому дай волю, и она вырастет, завладеет... Я наблюдал за окружающими, мне казалось, что и они побавляются в себе того же. Вероятно кто-нибудь из них возразит: "С чего вы взяли? Много ли вы видели, чтобы судить о нас, пускаться в рассуждения о нашей жизни? Подумаешь, покер-автоматы, не это типично".

Но я и не настаиваю на типичности. И если я говорю о каком-то австралийце вообще, то он состоит всего-навсего из двух-трех десятков австралийцев, с которыми я успел близко познакомиться.

Однако я давно заметил, что человек хуже всего представляет, каким он выглядит со стороны. Например, я сам не знаю, что у меня за физиономия, когда я спорю, волнуясь, размышляю. Я никогда не видел себя в такие минуты. В зеркале я вижу не себя, а человека, который рассматривает меня. Как-то один писатель вывел меня в своем рассказе. Обстоятельства были изложены точно, и тем не менее мне и в голову не пришло, что я читаю о самом себе. Ничего плохого там не было, но я не имел к этому субъекту никакого отношения и не желал иметь. А все кругом смеялись и показывали на меня пальцем...

А иногда бывает обратное. Ко мне явился научный сотрудник одного из институтов и заявил, что его профессор возмущен тем, что я вывел его в романе. Я никогда и в глаза не видел этого профессора и понятия о нем не имел, а он узнал себя, вплоть до внешнего вида и привычек.

"Однорукий бандит" не давал мне покоя. Впервые предо мною была машина полностью враждебная, которую никак нельзя было приспособить, приладить для общества, в котором я жил. Техника бесклассова, это я знал твердо, но тут я споткнулся. Он был замыслен как бандит, он был сконструирован как бандит, он не мог быть не чем иным, как бандитом, поэтому он подлежал уничтожению вместе с силами, породившими его. Пивные - тоже клубы, только без "одноруких бандитов", без членства, без галстуков. Пивные, или, как их называют, паб, почти всюду одинаковы. Стены выложены белым кафелем, цементный пол, длинная стойка, высокие стаканы. Большой частью пьют стоя, расхаживают со стаканами в руке от одной компании к другой. Австралийский паб - это не какая-нибудь забегаловка, выпил и отправился восвояси. Есть еще, конечно, женщины, которые считают, что если купить мужчине несколько бутылок пива, то он может и не ходить в клуб. Им не понять, что паб незаменим. Паб не похож на немецкие пивные, на чешские пивные, в которых есть своя прелесть, не похож он и на наши пивные, в которых тоже могла бы быть прелесть, если б их было больше.

Мы зашли с Гарри в паб, и через несколько минут все знали, что я из Ленинграда, прилетел вчера, уеду в субботу, воевал танкистом. Тут же я поспорил с двумя каменщиками насчет самолетов и дирижаблей, сыграл с кем-то в кости, мясник пригласил меня на день рождения дочери, Гарри организовал дискуссию о социализме, тем временем седенький клерк рассказал мне, как спастись от акул, а я ему - как кататься на лыжах. В пабе нет незнакомых. Представляться друг другу некогда. Тут нет профессоров, студентов, скваттеров, докеров, министров. Главный тот, у кого есть в запасе интересная история, кто умеет рассказывать, у кого громче голос. За каких-то двадцать минут мы с Гарри выпили шесть огромных стаканов пива. Подобная скорость возможна лишь в пабе. По количеству выпитого пива на душу населения Австралия занимает третье место в мире. Однако душа эта потребляет, пожалуй, самое крепкое пиво. Если литры помножить на градусы, то Австралия может поспорить с чехами. Вопрос этот сейчас живо обсуждается, и делается все, чтобы страна добилась первенства. Мы тоже пытались помочь австралийцам и сразу ощутили всю сложность их положения. Конечно, по сравнению, допустим, с чехами, австралийцам куда хуже. Чех-он может пить свое пиво не торопясь. Чеха никто не понукает, сиди себе у Томаша, у Калеха хоть за полночь. В Австралии пить труднее. Работа кончается в пять, пивные закрываются в шесть. Таково требование женщин. За какой-нибудь час попробуй догнать чеха. В таких условиях и третье место чудо. Обидно все-таки, что статистика не учитывает обстоятельств. Итак, с пяти до шести мужчины пьют и говорят. Прежде всего обсуждаются предстоящие скачки, бега, спортивные новости, профсоюзные дела,

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru рассказываются всевозможные истории, немного политики, анекдоты.

Женщины в пивные не ходят – не принято. Поэтому в течение этого часа мужчины испытывают блаженное чувство полной свободы. Никаких замечаний, ограничений, осуждающих взглядов и заботы о здоровье. В одном углу поют, у стойки играют в кости. Молчать некогда. Надо успеть наговориться и выпить.

Ровно в шесть часов пивные краны закрываются. Требование австралийских женщин удовлетворено законом. Хочешь не хочешь, приходится идти домой. Напиться никто не успел, но самолюбие удовлетворено, и обе половины рода человеческого довольны. Один час в день свободы и независимости – тоже немало, почти достаточно, чтобы почувствовать себя мужчиной.

## ВОСКРЕСЕНЬЕ

Небо проснулось все так же безнадежно чистым, ни облачка на стерильной голубизне. К полудню оно вылиняет, солнце расплавится на его поверхности, как масло на сковородке. Утро для нас – это прежде всего прохлада, спасительные тени домов, сухая кожа.

Из нашего гостиничного закоулка мы вышли на главную улицу Аделаиды и ничего не поняли. Мы посмотрели на часы, сверили время – восемь часов. Все правильно. Все как обычно. Что же случилось, почему на улице ни души? Те же сплошные линии магазинов под сплошным козырьком, те же сплошные линии авто вдоль тротуара, и пусто. Шаги звучали гулко в неестественной тишине. Один квартал, второй – ни одного встречного, только манекены следят за нами из глубины витрин. Бары закрыты, кафе закрыты. Окна домов закрыты жалюзи. Город пуст, по как пуст – в самую глухую ночь он не бывал таким пустынным.

Мы свернули на площадь. Перед костелом никого, большая, залитая солнцем площадь пуста. Я вышел на середину площади и закричал. Может быть, где-нибудь откроется окно, люди придут па помощь или хотя бы полюбопытствуют. Может, появится полицейский.

– Люди, где вы? Что случилось?

Оголенный, покинутый город напоминал об атомной войне, о вымершей планете. Наглядное пособие в борьбе за мир – жаль, что нет зрителей. Город был как уцелевшая Помпея, как музей. Внезапно все лишилось смысла, нелепыми стали крикливые плакаты о распродаже, роскошные универмаги Давида, универмаги Вулворта и какого-то Джона Мартенса – они были так же ненужны, как маленькая лавочка Стюарта. Смешно было видеть объявления, запрещающие парковаться, аккуратный белый пунктир на площади, автоматы и даже собор. Смысл слетел с улиц, оставляя груды затейливо уложенного раскрашенного кирпича, скелет суматошной, нелепой и милой Истории, которая называлась двадцатым веком. Улыбаясь, можно разглядывать ее издали, как ту же Помпею. В каком это было веке – в первом? До нашей эры или после? Мы очутились на таком расстоянии, что легко могли ошибиться, двадцатый век, восемнадцатый – какая разница. Просто давным-давно. Забавно они жили в этом давным-давно.

Воображение наше разыгрывалось вместе с аппетитом. Мы хотели есть. Голод связывает любое прошлое с любым будущим, это такое чувство, которое действительно в любую эру. Мы присели на ступеньки закрытого бара и начали выращивать свой голод. Нужно было довести его до тех размеров, когда он станет сильнее предрассудков и позволит взломать бар.

Неизвестно откуда перед нами появился Джон Брей. Он нежно прижимал к груди банки с пивом. Джон Брей нам понравился с первой минуты, но сейчас он был лучшим человеком в Аделаиде.

– Что случилось? – спросил я. – Где население? Где трудящиеся, где буржуазия?

– Воскресенье! – сказал Джон Брей. Поэтому он так легко нашел нас, единственных людей в каменной пустыне.

– Воскресенье, – повторил Джон. – Торжество одиночества и заброшенности. Посреди города можно умереть от голода, можно от жажды. От чего вам угодно? Никто никого не смеет беспокоить. Большинство самоубийств происходит по воскресеньям.

- Где же все люди?

- Те, кто не кончает с собой, уезжают на пляж, сидят у телевизора, копаются в садике. А как у вас?

- У нас все иначе, - сказал я. - У нас улицы полны народа. Мы ходим в гости, устраиваем коллективные вылазки за город и коллективно едем за грибами.

Джон открыл несколько банок, и мы стали пить пиво.

- Я нарушил закон, - сказал он. - Купил в воскресенье пиво.

Джон был известный адвокат, и у меня не было оснований ему не верить.

Все дело в обычаях, рассуждал я, но почему такие разные обычаи?

Я вспомнил воскресное утро в Польше, переполненные костелы, вечернее гулянье на старой площади в Кракове, воскресную главную улицу Варны, отданную гуляющим, воскресные итальянские карусели, кукольников, танцы. И вот, пожалуйста, австралийцы, такие общительные, простые, веселые люди, зачем-то заперлись в своих домах. Закрыты театры, кино, кабаре. Ни выпить, ни потанцевать, никакого культурного досуга.

- Раз в неделю человеку следует остаться наедине с собой, - сказал Джон. - Очень полезно. Собирайтесь, мы едем на пикник.

Он не видел в этом никакого противоречия. Самое естественное для него было поступать необычно. Он и сам был весь необычен. Он был похож на гризли или на фальстафа. Выбрать окончательно не могу, потому что ни того, ни другого я не видел. Ходил он переваливаясь, громадные волосатые руки его были всегда растопырены. Брюки свисали, темные пятна пота выступали на рубахе, и при этом он каким-то образом сохранял утонченное изящество. Есть такие люди, у которых изящество никак не связано с их внешним видом: выпирает брюхо, растрепаны седые волосы, потный, пыхтящий - и все ему идет, все равно он аристократ.

Кроме того, он был поэт и адвокат. В его конторе висел диплом королевского адвоката, - из этой бумаги следовало, что он особо важный адвокат, заслуженный. Он позволял себе не считаться ни с кем и брался за безнадежные дела, бесплатно вел процессы бедняков и аборигенов, ему позволялось то, что нельзя было другим. Никто бы не удивился, если бы увидел Джона навеселе и в расхристанном виде. А вот, например, флекс, тот не имел права появляться без галстука. Каждому было положено свое.

Машина мчалась сквозь безлюдную Аделаиду, некогда шумную, говорливую, занятую в будни куплей-продажей, американским боевиком - "Клеопатрой", приездом английского дюка...

- Одиночество - дефицитная штука в наше время, - говорил Джон. - Людям некогда заниматься собой. Годами не успевают добраться до себя. Раньше книги заставляли человека думать, теперь читают для того, чтобы не думать.

Поля, низкорослые рощи, лиловые и красные холмы вздымались и опадали. Цвели высокие алые банксии, и пропадало ощущение пустынности, мир наполнялся красками, запахами. Хорошо, что для природы не существовало воскресенья, - отсутствие людей нисколько не портило ее.

На шоссе становилось оживленно. Мы нагоняли одну за другой машины. На их крышах блестяли привязанные серфинги - легкие доски с килем, сделанные из серебристого пенопласта.

Стоя на таких досках, австралийцы скользят вниз с высокой волны, так же как мы на лыжах. Только вместо снежной горы водяная, вместо двух лыж - одна доска, вместо свитера трусики. Вместо мороза - февральская жара, солнце движется наоборот, справа налево, на севере теплей, чем на юге, мохнатые звери высидивают яйца, деревья меняют не листья, а кору - все шиворот-навыворот, страна наоборот, как говорится в одном стихотворении Галины Усовой. Она занимается переводами австралийской поэзии, Австралия - ее страсть. Кто собирает марки, кто ходит на

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru футбол, кто в филармонию, а Галя Усова любит Австралию (хобби площадью почти восемь миллионов километров), любит так, что даже пишет стихами:

Австралия – страна наоборот.

Она располагается под нами.

Там, очевидно, ходят вверх ногами,

Там наизнанку вывернутый год.

Там расцветают в октябре сады,

Там в январе, а не в июле лето,

Там протекают реки без воды

(Они в пустыне пропадают где-то).

Там в зарослях следы бескрылых птиц,

Там кошкам в пищу достаются змеи,

Рождаются зверята из яиц,

И там собаки лаять не умеют.

Деревья сами лезут из коры,

Там кролики страшней, чем наводнение,

Спасает юг от северной жары,

Столица не имеет населенья.

Австралия – страна наоборот.

Ее исток – на лондонском причале:

Для хищников дорогу расчищали

Изгнанники и каторжный народ.

Австралия – страна наоборот.

...Мы проносились сквозь пустынные городки, и я думал о том, что так никогда и не увижу их многолюдными. Воскресенье. Господь бог решил в воскресенье отдохнуть, уже были созданы земля, и небо, и Австралия с акулами, он почил от трудов своих, но все же что он делал в этот первый выходной день? Как он отдыхал? Это была такая же загадка, как и то, что творилось за закрытыми жалюзи коттеджей.

Машину вел флекс. Первое, что он сообщил нам, еще тогда, когда встретил в аэропорту, – это то, что у него новая машина. Уже потом он сказал, что у него вышла новая книга, что жена выздоровела и что они переехали в другой дом. Все это были новости второго порядка. Флекс наслаждался новой машиной.

– Вы не боитесь быстрой езды? – спросил он. Я посмотрел на спидометр. Стрелки подходили к последнему делению, к цифре 100.

– Прекрасно, – сказал я.

Он благодарно улыбнулся, и стрелка уперлась в 100. Поселки мелькали со свистом. Крыши сливались в одну крышу, окна в одно окно. Только благодаря массе Джона Брея наша машина не взлетала в воздух. Я наклонился к спидометру. Под цифрой 100 была вторая цифра – 160. Так я понял раз и навсегда, чем отличается мили от километров. Но было уже поздно. В таких случаях лучше не смотреть на дорогу. Тем более что флекс тоже не часто смотрел на нее. Он рассказывал о своей школе, он

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru там директорствует, потом он стал объяснять философские стихи Джона. Я старался не отвечать, чтобы прекратить разговор. Получалось еще хуже. Флекс поворачивался ко мне обеспокоенный молчанием. Он начисто забывал о дороге, выясняя мое настроение. Когда я отвечал, Флекс успокаивался и продолжал, размахивая руками, цитировать стихи. Он не мог читать стихи и держаться за руль. У каждого своя манера читать стихи. Я не встречал ни одного австралийца-водителя, который бы умел разговаривать, смотря при этом на дорогу. Одни считают долгом вежливости смотреть на тебя, когда ты говоришь. Другие поворачиваются к собеседнику, когда он слушает их объяснения. Видите ли, их интересует реакция. Молчаливые водители мне не попадались.

Мы остановились заправиться. У бензоколонки стояло несколько машин, набитых детьми, корзинами со снедью, надувными матрасами. Все это напоминало эвакуацию. Парни в голубых униформах окутали нашу машину шлангами: заливали бензин, масло, добавляли сжатого воздуха в шины. Как ни быстро они орудовали, машина еще быстрее раскалялась. Остановка на таком пекле гибель. Машина превращается в духовку. Мы корчились в ней, как грешники. С какой нежностью вспоминаются из этого ада слякоть, туман, насморк и прочая ленинградская благодать. Что произошло с нашим чахлым, гриппозным солнышком на этой половине земного шара? Никакое оно не солнышко – это насос, который разъяренно выкачивает из тебя пот. Вкуснейшие ананасные джусы, и апельсиновые джусы, и ледяное виски с содовой, пиво, кофе все перегоняется в липкий соленый пот. Потеет вся страна. Никто не борется за место под солнцем. Полезная площадь страны исчисляется в такие часы количеством тени на одного человека. Качественной, густой тени не найти, тень жиденькая, в тени градусов сто. Наш Цельсий гуманней ихнего Фаренгейта. Я пробую умножить Фаренгейта на мили... В этой жаре мысли мои, не успевая созреть, усыхают, от них остаются наиболее крепкие прилагательные. Подумать только, что за все время я не видел здесь ни одного серьезного облака. Куда девается то огромное количество воды, которое ежесекундно испаряется из населения?

Машина все еще стоит. Выйти нельзя, потому что потом не сядешь. Сиденье накаляется так, что думаешь: вот-вот сгорят штаны и все остальное.

Австралийцы тоже мучаются, но они умеют сохранять при этом хорошее настроение. Флекс предложил опускаться в такие дни Австралию в океан хотя бы на полминуты. Пошипит, но все ж охладится.

Джон вскрыл банку, и, глядя, как они с Флексом, обливаясь потом, пили пиво и рассказывали анекдоты, я подумал, что это великий народ. Потом я вспомнил, что у нас сейчас на перроне Финляндского вокзала замерзший Лева Игнатов со своими лыжниками ест эскимо и вафельные стаканчики с мороженым, и обрадовался тому, что мы тоже великий народ. Но, признаюсь, была такая жара что я не мог доказывать, что мы более великий народ.

Так же как у нас инженеры ищут, как бы защитить здание от мороза, здесь инженеры защищают от тепла. Крыши снабжаются асбестовыми прокладками, комнаты – фенами, аппаратами "эркондишен". Пока что это помогает. Пока что, ибо солнце с годами увеличивается в размерах, излучение возрастает, температура Земли неуклонно повышается, дело идет к тому, что океаны начнут кипеть и жара разрушит всю существенную жизнь. Я мрачно вспомнил предсказания астрономов, пока мы не двинулись в путь. Машина набрала скорость. Ветер выдул зной, и я вспомнил, что некоторое время у нас в запасе имеется, поскольку все это случится через два миллиарда лет.

С главного шоссе – на узкую асфальтированную дорогу, с дороги – на проселок, и мы на ферме Роджера Макнайта. Здесь состоится пикник. Подъехала еще машина с семьей Лофусов, выгружают корзины с припасами, бутылки вина, пива. Женщины надевают фартуки, мужчины разжигают костер.

Роджер – поэт. Фермер-поэт. Или поэт-фермер. В Канберре мы познакомились с Кемпбеллом. Он хороший поэт и тоже фермер. Белл Дэвидсон – известный прозаик и тоже фермер. Поэтов, которые могли бы жить на литературный заработок, в Австралии, кажется, вообще нет.

Костер разводили во дворе фермы со всеми предосторожностями. Обычно пикник устраивают в глубине буша, австралийский пикник имеет свои правила и традиции. Но нынче костер в буше зажигать нельзя. Третий месяц не было дождя. С холма, на котором стояла ферма, были далеко видны сухие поля, лесистые склоны. Темная

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru зелень буша выглядела настороженной. Сейчас достаточно малейшей искры, чтобы буш запылал. Эвкалипты всех видов, испаряющие эфирные масла, вспыхивают мгновенно, как бензин. Окрестности затаились, словно в ожидании беды. На ферме Роджера все было готово на случай пожара. Спасать дома, строения бесполезно – огонь распространяется с колоссальной скоростью. Спасаться можно только самим, на машине. Пожары – бедствие страны. Страх перед пожаром живет в душе каждого австралийца. Европейцам это трудно понять. Однажды мы сидели в прокуренном зале ресторана в Канберре, когда посреди разговора фернберг обеспокоенно принялся. "Пожар", сказал он. Мы вышли на балкон. Вечерняя Канберра спокойно блистала огнями. Я добросовестно принялся и ничего не чувствовал.

- Буш горит, – определил фернберг. – Далеко. – И показал на восток.

Беседа наша расстроилась. Я не понимал тогда, почему фернберга, преподавателя университета, журналиста, так беспокоит далекий пожар. Кто-то сказал мне, что фернберг фермер. Но это была лишь часть объяснения. Запах гари для австралийца, наверное, то же самое, что для ленинградца, пережившего блокаду, вой сирены.

И когда Роджер вел нас по своим полям, мы шли, как по складу горючего, – следили друг за другом, чтобы никто не курил. А в остальном все было прекрасно и свободно.

Роджер оказался превосходным парнем.

Во-первых:

он был солдатом. В эту войну он воевал с японцами. К солдатам у меня отношение особое, они пользуются у меня решающими льготами, поскольку солдат понимает то, чего никто другой не поймет. Сколько бы лет ни прошло, солдатское несмываемо, оно как татуировка.

Во-вторых:

он был поэтом. Хорошим поэтом. И не спешил печататься. Ему важно было написать и прочесть друзьям. Плевал он на публикации. Он не желал тратить время, ездить в город и ходить по редакциям. Ему интересней было стоять в поле и слушать, как растет трава. Жена застала его, когда он разговаривал с травой. Он читал стихи траве.

Природа лучше понимает, когда с ней говорят стихами.

Спустился я

к нагроможденьям скал,

чтоб словом тронуть их,

а сам шагал

По костякам несчетным

жизни той,

Которую сожгли соль и прибой.

В-третьих:

он был фермером. После войны он надеялся чего-то добиться. У него были хорошие руки, хорошая голова. Через несколько лет городской жизни оказалось, что он ничего не приобрел, кроме разочарований. Роджер загнал свой скарб и с женой забрался в эту глушь. Он взял в кредит участок земли – сплошной буш, взял в кредит машины и принялся за работу. Он начинал с ничего. Они с женой вбили столб и на дощечке написали название фермы: "Дошли до ручки". Все поле, пастбище для коров расчищено, огорожено этими руками. Сложнее всего было обеспечить стадо водой. На участке имелось несколько ручьев. Роджер построил плотины, сделал запруды. Добуриться к воде здесь невозможно. Для фермы воду собирали в период дождей в огромные цистерны-танки.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Три серебристые цистерны стояли у дома – хранилище жизни семьи.

Роджер до сих пор в долгах, но он не унывает. Он работает на себя, ему интересно что-то придумывать, строить.

Сухая трава хрустела под нашими ногами. Пыль стлалась по полю. Пустыня это была, а не поле. Повсюду мертво лежали перекаленные желтые пустоши, и желтого-то в них не осталось, а была бесцветность праха, и травы не осталось, а был ее хрупкий остов. Что тут делать коровам?

Роджер сорвал пучок, потер в ладонях. Посыпалась сухая труха.

– Вы думаете, она мертва? – Роджер протянул ладонь, там лежали черные горошины. На вкус они были сладковатые, напоминали клевер.

Могучие коровы сочувственно разглядывали наши физиономии, принимая нас за еще одно стадо, которое хозяин куда-то гонит.

Коров было семьдесят. Роджер обслуживал их сам, никаких наемных работников. Ему помогала собака и после школы одиннадцатилетний сын. Жена занималась домом и варила сыр.

– Я бы мог держать еще столько же коров, – сказал Роджер, но тогда не останется времени писать стихи.

Сынишка сидел за рулем трактора. За трактором катился прицеп с сеном, заботливо укрытым брезентом. Мы разлеглись на брезенте и поехали мимо плотин, проволочных изгородей, загонов, через мостики, над мутно-желтыми запрудами. Коровы спускались к воде, пили, заходили по брюхо, спасаясь от зноя. Ошалелая лайка с восторгом носилась вокруг, вспугивая птиц. Роджер стоял, широко расставив ноги на тряском прицепе, и показывал, и читал стихи. Сено пахло сеном и еще детством, – с годами прибавляется этот запах, счастливый запах детства.

Тень оврага накрыла нас сырой свежестью. Это был единственный невырубленный участок, явно бесполезный, убыточный, окутанный лианами, наполненный птичьими песнями. Роджер не трогал его ради ребят и орхидей. Лепестки их змейно выгибались в зеленоватом настое прохлады.

– Да здравствует поэзия! – кричал флекс. Мясо к нашему возвращению поджарилось. Оно томилось на железной сетке над беспламенным жаром углей эвкалипта. Сладкий дым эвкалипта курился на дворе фермы, уставленной дощатыми столами с вином, пивом, салатами. Запах эвкалипта – это запах Австралии.

– Когда австралиец скучает на чужбине, – сказал Роджер, друзья посылают ему листок эвкалипта. В утешение. В память о родине.

Австралийский пикник состоит из питья, из песен, жареной баранины, фруктов, внезапной тишины, безотчетных прыжков, желания всех обнять, лазить по деревьям. Австралийцы не происходят от обезьян. Они происходят от кенгуру и коала мохнатых добряков с круглыми детскими глазами. Пикник – бунт против сервиса. Долой крахмальные конусы салфеток, долой подогретые тарелки, холодильники, платные стоянки, автоматы!..

Жена Роджера разносила сыры, изготовленные ею. Сыры были прекрасны. Жена флекса сильным голосом пела прекрасные песни докеров, пастухов, золотоискателей, свободных людей, у которых все их имущество – одеяло за плечами да умелые руки.

На низких яблонях блестели стеклянные нити – защита от птиц, и в этом наряде яблони были прекрасны.

Я поднял тост за Австралию, и все сочли этот тост прекрасным, такие это были прекрасные люди.

Никто из них ни одним словом, ни намеком не дал почувствовать, что весь этот пикник был организован ради нас. Я представлял, как заранее оборудовался для поездки по полям прицеп, – не будь нас, никому бы не пришлось в голову ездить по полям; как готовились столы и тюки с сеном. Никто не предписывал этим

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru заниматься, это было нечто большее, чем гостеприимство. Никто из них не бывал в нашей стране. Они не были коммунистами. Они не знали нас как писателей. Они ведь ничем не были нам обязаны. И меньше всех Роджер. Уж он-то, вынужденный считать каждый шиллинг, чего ради он тратился, готовился, что ему были мы?

Я слушал, как Роджер умножал двадцать литров молока от каждой коровы на семьдесят и делил на количество акров. Он не стеснялся считать, он вынужден был считать, иначе ему было не прожить. Беспечный поэт уживался в нем с расчетливым хозяином. Мужчины сочувственно помогали ему вычислять невыгодность мясного хозяйства. Огород держать тоже невыгодно. Час работы на огороде дает меньше, чем час работы с коровами.

- Надеюсь, в будущем, - говорил Роджер, - мы создадим кооператив с соседними фермами и избавимся от посредников, сами будем продавать.

- Да здравствует независимость! - кричал Флекс. Пospel чай. Роджер раскручивал на веревке закопченный котелок с чаем. Он хотел показать нам всю процедуру приготовления австралийского чая, крепчайшего, черноту которого обычно забеливают молоком, чтобы было не так страшно. Он хотел, чтобы этот день запомнился всем нам. Он принадлежал к счастливейшему типу людей, которые умеют делать "сегодня" главным днем жизни.

Но, может быть, действительно этот день значил для него так же много, как и для меня. Я посмотрел на его открытое лицо. Он встретил мой взгляд и, поняв, сказал:

- Хорошо, что вы приехали. Я запомню этот день. В его глазах я увидел недосказанное, то, что люди не умеют выразить словами. Я тоже не могу это передать. Мы тут были ни при чем. Он принимал у себя на ферме нашу страну. Сколько за свою жизнь прочел он о ней всякой всячины, небылиц и напраслин, сколько было у него сомнений, разочарований. В конце концов, что мы сделали для него? И все же он принимал нас по высшему разряду любви и дружбы.

Вот о чем я размышлял. О том, что мы не знаем, как мы выглядим со стороны, что мы значим для людей, казалось бы никак не связанных с нами, живущих где-то на другой половине земного шара, на маленькой ферме в штате Южная Австралия. Что бы там ни было, мы нужны, нужны каждому думающему человеку. Речь шла о самой сути, о сущности моей страны, о конечном смысле ее, который сохранялся для Роджера среди всех подлинных и приписанных нам грехов.

Мы возвращались под вечер. Машина ехала прямо в закат. Земля светилась золотом. Холмы стали сиреневыми, как на картинах Наматжиры. Мы возвращались другой дорогой. Кругом лежали разомлелые поля, диковатые долины, заросшие мутьгой, и снова поля, окрашенные чистыми красками - желтой, красной и зеленой. Белые колонны эвкалиптов уходили под небо. Некоторые из них цвели неистово-алыми цветами. Закат был громадный, под стать этим огромным полям.

Такую щедрость пространства я видел только у нас. Краски у нас были другие, природа другая, но что-то родственное было в здешнем приволье. Просторы земли отзывались в людях свободолобием, душевным размахом, независимостью.

Нас мало что связывало в истории, мы плохо знали друг друга, но в чем-то мы были схожи, даже близки.

- Что произвело на вас наибольшее впечатление в Австралии? - спросили меня в Сиднее.

- Ферма, - сказал я. - Роджер Макнайт, ферма, весь тот день.

- Почему?

Я развел руками. Я не сумел объяснить журналистам закат, взгляд Роджера, вкус клевера. Может быть, если б они приехали к нам, они бы поняли...

К.-С. ПРИЧАРД

В Канберре, в посольстве, нас ждало письмо Катарины Причард. Она просила составить маршрут так, чтобы побывать у нее. Не будь этого письма, мы все равно

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru бы заехали к ней. Нелепо было приехать в Австралию и не повидаться с Причард. По письму чувствовалось, как она ждала нас. И пока мы ехали к ней на машине из Перта, я думал о том, как трудно нам будет оправдать ее ожидание. Нас вез писатель Берт Веккерс. Он беспокоился: последнее время Причард болела и подолгу не вставала с постели. Ее болезнь волновала всех писателей штата. Даже писатели крайне правого толка спрашивали нас: "Вы были у Катарины, как она себя чувствует?".

Они считали ее противником, порицали ее партию и тем не менее по-своему любили Причард и гордились ею.

Она встретила нас на террасе своего старого дома. Она стояла в белом платье, держась за темную от времени балясину, седая голова ее была такой же белоснежной, как и платье. Издали ее стройная фигура казалась совсем юной.

Мы шли к ней по аллее, а потом побежали.

На портретах она выглядела куда старше. Я обнял ее и расцеловал, не успев подумать, прилично ли так обращаться с классиком, которого видишь впервые в жизни, да еще с заграничным классиком, да еще с женщиной.

В свои восемьдесят лет она прежде всего была женщина. Она чуть покрасила губы, припудрилась, глаза ее блестели. Оксана звала ее Катя, а я от почтения Катериной. Ее невозможно было звать миссис Причард.

Большой дом ее, ветхий, скрипучий, стоял неподалеку от шоссе, в заросшем саду. Мы расположились на террасе, увитой виноградом.

- Рассказывайте, - потребовала Причард. - Про Москву, Ленинград, про себя...

Она приготовилась слушать нас, как будто мы должны были привезти какие-то откровения. Она нарушала все обычаи поведения классиков. Я привык к тому, что классики и те, кто считают себя классиками, любят говорить сами, они вещают истины, роняют ценные мысли, чтобы слушатели почтительно заносили их изречения в записные книжки и публиковали в мемуарах. Причард самым легкомысленным образом нарушала традицию.

- Катарина! - взмолились мы, пытаясь призвать ее к порядку.

Она рассмеялась и принялась расспрашивать меня о моей работе. Она не давала опомниться: если ее что-то интересовало, бесполезно было противиться. Оказывается, перед нашим приездом она раздобыла английское издание одной из моих книг, прочла это будучи больной! - и теперь выпытывала подробности, выясняла места, которые не поняла, рассказывала свои впечатления. Я был ошеломлен. Я не привык к такому вниманию. Оно вызывает во мне глупое умиление. Разумеется, я понимал, что Катарина прочла бы книгу любого другого писателя, приехавшего вместо меня. Она принадлежала к натурам, для которых максимум внимания к людям проявляется естественно, в любых обстоятельствах, это норма их жизни. Она считает, что иначе и быть не может. Ей неловко и странно слышать какие-то слова благодарности по поводу такого поведения.

Однажды я попросил академика Смирнова принять меня. Договорились, что я приеду к нему на дачу к двенадцати часам. Счастье мое, что я случайно подошел к его даче вовремя. Владимир Иванович уже стоял на шоссе, ожидая меня. Вышел навстречу. Опять скажете - умиление нормальными вещами? Но я думал тогда - почему никому из людей моего поколения и младше меня не придет в голову выйти к назначенному времени навстречу гостю? Мы будем гостеприимны и радушны, но нам и не догадаться, что можно еще и так выразить свое внимание к человеку. Сколько раз мы упускаем подобные возможности.

После пустоватой, веселой болтовни на приемах и коктейлях было приятно сидеть на этой старой террасе и говорить о серьезных вещах. Мы соскучились по серьезному разговору. Никто уже не внимал друг другу, мы спорили, бесцеремонно прерывали друг друга, шумели, радовались одинаковости каких-то сомнений.

- Мне трудно разбираться в современной науке, - жаловалась Катарина, - но я стараюсь понять, что же в конце концов может дать наука литературе. Сама я пишу о других временах, у каждого писателя есть свое время, в мое время здесь по

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru дороге еще ездили на лошадях и в нашем саду бегали опоссумы и ползали змеи. Змея заползла сюда на веранду, и я поила ее молоком. Наверное, и в прошлое можно поехать на автомобиле, но я слишком стара, чтобы писать иначе. Однако я любопытна. Мне очень хочется понять, куда развивается литература.

В ней соединялись хрупкость и твердость, как в алмазе. На стенах висели старинные фотографии. Там Катарина была юной, в широкополой шляпе, на лошади, там все были юные – молодые люди в офицерских кепи, девушки со стеками, охотники в крагах. Катарину я узнавал сразу. Она была самой красивой. Конечно, сравнивать юность со старостью всегда грустно. Иногда это вызывает уныние, но тут у меня было совсем иное чувство. Я втайне восхищался и завидовал такой мужественной старости. Это редко бывает – столь пренебрежительное невнимание к своему возрасту: она с ним не считалась.

Еще не выезжая из Перта, мы заметили, как Берт таинственно и осторожно укладывает какие-то свертки в багажник. Оказывается, что это обед. Он сам приготовил его, чтобы не затруднять Катарину, живущую очень скромно и одиноко.

Поэтому обед показался всем особенно вкусным, мы ели и пили, и Катарина пила не отставая, потом мы варили кофе и смотрели новые книги Причард, и Оксана переводила ей письма из России. Удивительно, сколько писем шлют ей советские читатели. Мать из Новосибирска жаловалась ей на сына. Причард просила ее проявлять терпение, советовала. Я опускаю подробности их переписки. Лишь хочу сказать о письме, которое пришло к Причард спустя четыре года. Мать писала, что Причард была права и советы ее помогли, сын женился, взял женщину с ребенком, любит ее и ребенка, стал прекрасным человеком... Причард не знает русского языка, и всякое письмо от нас причиняет ей массу хлопот, но она не хочет отказываться от переписки, – никто не пишет ей так много, как советский читатель.

Я уже знал, что в Австралии писатели живут бедно. В этой богатейшей стране творческая интеллигенция – наиболее скромно оплачиваемая часть населения, среди них писатели, пожалуй, самая бедствующая профессия. Объяснили нам это тем, что раскупаются главным образом книги американских, английских авторов. Соревноваться с английской и американской литературой трудно, еще труднее конкурировать с английскими, американскими издательствами. Тиражи австралийских книг мизерны, цены высокие, гонорары ничтожны.

Однако я никак не предполагал, что хотя бы в какой-то мере это приложимо к К.-С. Причард. Разумеется, ее издают и в Европе, и, может быть, там ее ценят и знают лучше, чем на родине. Австралия в глубине души не верит, что у нее есть своя собственная сильная литература. То ли не верит, то ли ее убеждают в этом. Во всяком случае, у нас Катарина Сусанна Причард известна больше, чем у себя, ни в каких школьных программах Австралии ее нет – слишком "красная". Вообще от писателей в Австралии масса неприятностей. Большинство из них "красные". Премьер-министра однажды в парламенте спросили: "Почему правительство выдает поощрительные премии исключительно левым писателям?" – "А что делать, – сказал он, – как нам быть, если у нас нет других выдающихся писателей, большинство из них либо коммунисты, либо близкие к ним".

Мы перебирали с Причард имена, среди которых были самые разные таланты – и Джуда Уотен, и Алан Маршалл, и Димфна Кьюсак, и Патрик Уайт...

Она сияла от гордости, от заслуженного хозяйского чувства старейшины этого цеха. Она была похожа сейчас на свои юные портреты, она была совсем молодая. Только дом был старый и сад.

#### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗАЯЦ

В австралийских клубах играют в механический покер. Люди играют с автоматами. Автоматы играют с людьми.

За два шиллинга автомат честно отпускает вожделенную порцию азарта. За один шиллинг в баре можно пострелять. Автоматический тир. Винтовка вделана в автомат-ящик, в глубине ящика перед прорезью прицела появляются, пробегают фигурки, кружки, цифры. Все как в настоящем тире, только винтовку не надо заряжать, и нет никаких патронов, и выстрела нет, и приклад не отдает в плечо. Автомат избавляет от всяких ощущений. Подлинность не нужна. Прицеливаетесь,

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru нажимаете крючок, что-то гудит, мигает, и выскакивает результат – цифры точные и бесстрастные. Есть автоматы-бильярды, автоматы-скачки, автоматы-футболы. Повсюду блестят никелированные щели, куда можно опустить монету и получить порцию развлечения – сугубо личного, собственного, консервированного, готового к употреблению. Два шага от стойки бара – и перед вами разинуто много щелей. От скучающих посетителей ничего не требуется.

Они нажимают кнопку и стоят, потребляя удобное автоматическое удовольствие.

Научные фантасты описывают пугающий мир кибернетических машин. Роботы захватывают власть над человеком. Разумно-бесчувственные машины становятся хозяевами. В кибернетически организованной жизни не остается места для человека. Тысячи рассказов, романов, исполненных тревоги о будущем человечества, порождены научными спорами вокруг кибернетики: где предел ее возможностей? может ли машина мыслить, заменить, превзойти человеческий мозг? что, если удастся построить машины, наделенные большим могуществом, чем человек, и способностью проводить свою линию поведения, да еще воспроизводить самих себя, да еще самосовершенствоваться и т. п. Пишут, читают и спорят, уверенные, что речь идет о будущем, отдаленном от нас по крайней мере несколькими поколениями. Но вот я смотрю, как эти австралийские парни покорно опускают монету в щель очередного автомата и как автомат начинает их развлекать, и мне кажется, что, пока мы спорим, автоматы потихоньку делают свое дело. Незаметно они все же овладевают миром. Они уже сегодня захватили какие-то области нашей жизни, власть их уже велика и с каждым днем разрастается все больше под видом таких безобидных, таких веселых, симпатично подмигивающих машинок.

В Западной Европе их еще больше, но вряд ли где еще существует такая мощная индустрия азарта, как в Австралии. Бега, скачки, собачьи бега здесь не просто увлечение, не только популярный спорт. Они скорее отрасль промышленности, умело, по последнему слову психотехники и рекламы, эксплуатирующие национальные особенности характера. Австралиец всегда был азартен, австралиец был игроком, австралиец любил скачки, любил лошадей. Вероятно, это идет от предков-золотоискателей, со времен золотой лихорадки прошлого века.

За последние годы искусно раздуваемый азарт стал массовой болезнью. Не эпидемией, а хронической болезнью страны. Играют все, во всяком случае все интересуются скачками, следят за скачками. Многие превратились в скачкоманов, бегоманов. Игра отнимает все свободное время, нервы, деньги. Как наркоманы, они должны постоянно поддерживать себя переживаниями "четвероногой лотереи". Их болезнь кормит сотни, тысячи людей – явных букмекеров, тайных букмекеров, кассиров тотализаторов, тренеров, конюхов, жокеев, скаковые конюшни, ипподромы...

Поначалу всеобщее увлечение скачками казалось мне забавным. Идешь по городу – там тотализатор, тут и вот еще. Внизу в отеле разговор о скачках, в пабе изучают таблицу скачек, за ленчем клерки спорят о лошадях, повсюду заняты скачками. Телевизионные передачи о скачках самые популярные. Проводятся народные конкурсы: надо ответить, какой масти лошадь выиграла семь лет назад на скачках в Дарвине. В Сиднейском музее на нечетном месте стоит чучело величайшего легендарного скакуна фар Лапа. Биография фар Лапа, покушение на фар Лапа, мученическая смерть священного фар Лапа известны каждому школьнику так же, как жизнь Наполеона или Джемса Кука. 67 000 фунтов – сумма максимальных ставок на фар Лапа. 1926-1932 годы его славной жизни. Единственный в мире конный памятник без всадника.

Накануне скачек мы зашли в один из городских тотализаторов. Работало несколько касс. К окошкам стояли очереди. Принимали ставки. Перед таблицами толкались игроки, выбирая, на кого поставить. Кое-кто открыто обсуждал шансы фаворитов, другие прислушивались, что-то шептали про себя, прикидывали; Я решительно выбрал "Голубую стрелу", – это вызвало немедленное размышление знатоков. Мы получили квитанции, и окружающий мир несколько изменился. Кругом себя я видел только игроков, я узнавал их безошибочно, по рассеянному блеску глаз, по нетерпению и надежде. После полудня я услышал ход скачек. Радио работало на полную мощность такси, и в магазинах, и в отеле. Куда бы мы ни приходили, везде раздавался захлебывающийся голос комментатора.

На ипподром здесь не стремятся так, как у нас на футбол. Участие в скачках происходит издали, как бы отстраненно. Зрелище скачек занимает гораздо меньше, чем результат. Важен ход скачек, а не красота скачущих лошадей. Я понятия не

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru имел, как выглядит моя "Голубая стрела", я лишь узнавал, что на первом этапе она была третьей, затем четвертой и так четвертой и кончила.

Вечером мы отправились на собачьи бега.

У входа на стадион продавали газету. Выходит такая гениальная десятистраничная иллюстрированная собачья газета. Скамьи трибун были почти пустые. Толпы кишели перед помостками букмекеров. Происходило именно кишение. Беспорядочное, безостановочное нервное движение лишенное направленности. На деревянных подмостках вроде ярмарочных, потные букмекеры зазывали, выкрикивали номера забегов, ставки, принимали ставки. Система ставок была сложная, с десятками манящих возможностей. Один за другим мы обходили эти вопящие, хриплые, полные ажиотажа тотализаторы. Кроме них был еще общий крупный тотализатор. Огромное световое табло возвышалось в ночном небе над скопищем людей. Там скользящие неоновые диаграммы, вспыхивали какие-то клеточки, выскакивали цифры, там шла игра на фунты. Шептались что-то на ухо подпольные букмекеры. Кричало радио, прожекторные лучи трудно пробивали синий дым тысяч сигарет.

Гонг возвестил начало очередного забега. Владельцы вывели собак. Трибуны почему-то на сравнительно большом расстоянии от беговой дорожки, - она где-то в глубине, отделенная сетками. Некоторые любопытные уходят на трибуны, но не садятся, а встают ногами на скамейки, большинство же не обращает внимания на начало бегов, - по-прежнему толпятся у касс и возле букмекеров. Выстрел. Собак спускают со сворки. Чучело зайца ускоряет ход, мчится по утопленному рельсу, собаки, подвывая, устремляются за ним. Распластанные тела их красиво вытягиваются, становятся длинными, они летят, как залп ракет. Зрители кричат, скорее по привычке, без особой страсти, кричат, прислушиваясь к диктору, который орет за них. Диктор изображает их переживания, волнения, он нанятый болельщик. Искусство комментатора состоит в быстроте и непрерывности сообщений. Напряжение в его голосе с каждым метром дистанции нарастает. "Ставлю Лондон против булжника, - кричит он, - что эта собака..." Слова произносятся все быстрее. Он беснуется, переходит на крик, вопль...

Стилю спортивного радиорепортажа подражают в самых неожиданных местах. Я наблюдал, как в Мельбурне молоденький продавец магазина мужских товаров рекламировал распродажу (распродажа - тоже психологический трюк, широко применяемый в торговле): он держал микрофон и сыпал туда слова с такой скоростью, что репродуктор на улице успевал выговаривать только часть. Не то что восклицательный знак, запятую невозможно было вставить между его фразами. Текст тут никакой роли не играл, важен был тон - тон надвигающейся катастрофы: еще минута-другая - и не останется ни одного галстука, ни одной пары трусов, остаток вашей жизни будет испорчен оттого, что вы упустили такую распродажу, единственный шанс... И так безостановочно, час за часом, при этом одновременно кланяться и улыбаться входящим покупателям, свободной рукой показывать разложенные товары, свободным глазом косить на улицу. Только глухие могли спокойно проходить мимо.

Однако вернемся к нашим собакам. Подвывая, они несутся за скользящим чучелом зайца. Рядом со мной притопывает медноволосая девица с двумя совершенно одинаковыми близнецами. Все трое, лениво покричав, прикладываются к банкам пива. Они блестят повсюду, эти пивные банки из золотистой жести, - в руках, под ногами. Пивные жестянки валяются на улицах, вдоль дорог, вокруг бензоколонок, в парках. Кажется, что скоро весь континент будет завален этой золотистой жостью и коричневыми пивными бутылками.

Второй круг!.. финиш! фотоэлемент срабатывает, судьи утверждают результат, радио оповещает, номер победителя вспыхивает на табло, летят на землю разорванные талоны проигравших, кто-то бежит получать выигрыш, остальные делают новые ставки. Дрожащих от возбуждения собак уводят. Комментатор отдыхает, букмекеры повышают голоса, чучело электрического зайца медленно скользит по пустой дорожке. Забег продолжается какие-нибудь три-четыре минуты. Через несколько минут следующий. Помчатся другие собаки, истошно завопит радио, запрокинутся пивные жестянки, а впереди будет скользить недостижимый электрический заяц.

Скорость зайца регулируется так, что никогда гончая не сможет догнать, схватить его... не сможет убедиться, что это лишь чучело.

И никто не смеется. Улыбка - редкость, она гаснет в плотной, непрестанно

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru нагнетаемой атмосфере азарта. Кругом меня были лица, измотанные безостановочной погоней за случаем. Страсть, которая никогда не удовлетворяется. Выигрыш не освобождает, а затягивает. Жажда впечатлений остается неутоленной.

Заяц скользит всегда где-то впереди.

Что там впереди – деньги, удача, впечатления? За чем гонятся? Кого хотят настигнуть? Все силы ума, изощренная хитрость, опыт, расчеты – ради попытки выиграть. Выиграть что?

Взамен азарта подлинной жизни, взамен борьбы, спорта, природы – впереди скользит электрическое чучело. За ним собаки, за ними люди, за ними букмекеры, за ними, наверное, еще кто-то, не знаю.

Последний забег. Трибуны пустеют. Охрипшие букмекеры бредут к своим машинам. Гаснет табло. Блестят на асфальте жестянки, бутылки, все засыпано рваными, скомканными талонами, целлофаном сигаретных пачек. Сторож снимает чучело электрического зайца...

#### АВТОМОБИЛИ И ПЕШЕХОДЫ

Разумеется, автомобилей больше. К счастью, те, которые без водителя, стоят на месте. Пока что они сами по себе не двигаются. Они заполняют стоянки, они тянутся вдоль всех тротуаров, ими забиты шоссе, пустыри, они повсюду.

Но и люди не двигаются без машин.

Машина в Австралии нечто вроде голландского велосипеда. Ходящих ногами голландцев я не встречал, голландца я видел только на велосипеде. Голландское дитя делает не первый шаг, а первый оборот педалью и вырастает не слезая с велосипеда. Все же дети рождаются не с велосипедными колесами, а по-прежнему с ручками, ножками, и если такого голландского младенца вовремя увезти в другую страну, из него вырастет нормальный пешеход. В самой Голландии пешеходы давно вывелись, они бывают только привозные, в виде туристов.

В Австралии с пешеходами положение не менее бедственное. Пешеход вымирает. В некоторых городах еще сохранились тротуары. По ним идут к машине или из машины. На большее не решаются.

Казалось бы, простая вещь – перейти на другую сторону улицы. Оказывается, это поступок, требующий времени, и мужества, и серьезных причин. Так просто, за здорово живешь, на другую сторону улицы не ходят. Машины едут одна за другой без зазора, часами, недолями, годами. А так как количество машин с каждым часом в Австралии увеличивается, то стоять на тротуаре и ждать не имеет смысла – скорее можно попасть на другую сторону улицы, сделав кругосветное путешествие.

Для нас переходы были особенно сложной операцией. Дело в том, что движение тут левостороннее. А когда я ступал на мостовую, голова моя, согласно многолетней привычке, автоматически поворачивалась налево, и так как слева ни одна машина не угрожала – все они мчались. от меня, – то ноги мои, также автоматически, несли меня вперед, пока справа не раздавались визг тормозов, крики и всякая неперевожимая игра слов. Тут я вспоминал, что я в Австралии и надо глядеть наоборот, не влево, а вправо, я поворачивался вправо, но так как это было на середине улицы, где все менялось, то повторялось то же самое. Машины странным образом ехали на меня оттуда, куда я и не собирался смотреть. Пока меня тащили из-под колес, я вырабатывал условный рефлекс, – теперь, прежде чем сойти на мостовую, я надолго задумывался. Рефлексы боролись во мне. Сперва по привычке я начинал поворачиваться влево, опомнившись, я быстро поворачивался вправо, затем на всякий случай – опять влево и, снова вспомнив, – вправо. На середине улицы надо было перестраиваться: теперь следовало смотреть в другую сторону, наоборот по отношению к тому, как я привык, то есть к тому влево, которое стало вправо, а теперь становится влево, а так как здесь все наоборот, а на половине мостовой наоборот снова переворачивается наоборот по отношению к тому наоборот, которое было наоборот... Голова у меня кружилась, я опустился на четвереньки и кусал правый бампер левой машины. Когда я вернулся в Москву, некоторое время меня считали больным – переходя улицу, я дергался во все стороны. Шея у меня долго болела, я закрывал глаза и просил прохожих: "Помогите, братцы!".

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Ездить на автомобиле, например по Мельбурну, трудно, но еще труднее поставить машину – "припарковаться". Когда я спросил у Гордона о проблемах, стоящих перед страной, он заявил, что одна из важнейших проблем – это паркование машин.

– Некоторые думают, – вежливо сказал он, изучая мою улыбочку, – что парковаться – значит найти свободное местечко и поставить машину.

Мы подъехали к ресторану, где происходил очередной прием. Там места для машины не нашлось. Мы медленно двигались вдоль поребрика, плотно заставленного машинами, проехали один квартал, второй, впереди показалась свободная полоса, но там возвышалась надпись: "No parking", мы свернули на соседнюю улицу, там вообще было запрещено парковаться, мы свернули на следующую и снова поехали вдоль линии машин, мы ехали долго и молча, вдруг Гордон тормознул и дал задний ход – он увидел в зеркальце, как позади одна из машин отделилась от тротуара. Реакция его была мгновенной. К свободному месту рванулись еще какие-то машины. Гордон, рискуя, перед самым их носом втиснулся к обочине, и они, сердито скрипнув тормозами, поплелись дальше. У машины торчал столбик с автоматом-счетчиком. Гордон опустил в автомат шиллинг. Автомат затикал, разрешая стоянку на сорок минут, затем надо снова опускать монету, иначе выскочит какой-то флажок и полиция оштрафует водителя на солидную сумму.

Теперь нам как-то надо было добраться до ресторана. Мы отъехали от него километра на два.

– Придется взять такси, – сказал Гордон. Мы отправились ловить такси. Нам повезло, – через десять минут мы нашли такси и поехали в ресторан.

– Хочу быть богатым, – мечтательно сказал Гордон, – я бы продал машину и ездил на такси.

В ресторане, когда все расселись за столом, Гордон тоскливо взглянул на немислимой красоты салат и сэндвичи, взглянул на часы и вышел – его звал счетчик. В течение вечера Гордон появлялся на несколько минут и снова исчезал, и другие тоже время от времени исчезали, спеша к своим стоянкам, над которыми стучали счетчики.

От чего порой зависит цивилизация – Цицерон прерывает свою речь и бежит к счетчику, ферми не может закончить эксперимент, больной убегает от врача, детектив от преступника...

А тем временем Австралия мчится на своих машинах к благословенному расцвету, где будет еще больше машин. Сидя в машине, смотрят кино, на машине едут по магазинам, на машине едут к своей машине.

Несомненно, машина, как установили социологи, формирует национальный характер.

1. Рискую сломать голову, австралиец мчится домой со скоростью сто двадцать – сто пятьдесят километров и идет стричь свой газон. Таким образом, наличие машин способствует уходу за газонами.

2. Поскольку общая длина машин больше, чем длина австралийских тротуаров, то архитекторы решают, каким образом сделать тротуары длиннее улиц. Машина способствует созданию национальной архитектуры.

3. После длительного заточения в машине австралиец жаждет общения, последних достижений культуры, поэтому, выйдя из машины, он немедленно вступает в разговор, втискивается в пивную или бар.

4. Привыкнув держать руль в руках, австралиец вне машины хватается за лопату, книгу, ракетку или перо, он что-то должен держать в руках, – некоторые считают, что поэтому в Австралии так много хороших писателей и спортсменов.

5. Рабочий, купив подержанную машину, имеет возможность чинить ее каждое воскресенье, что помогает сохранить трудовой ритм.

Накрепко привязанные ремнями к машине Гордона, плелись мы по тесной мельбурнской улице со скоростью каких-нибудь девяносто километров. Вдруг мимо нас с ревом проскочила машина, битком набитая парнями и девушками. И тотчас с другого бока,

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru нагоняя, выскочила вторая машина. Они неслись сквозь запруженную улицу. Машины шарахались от них, они срезали углы, проскакивали под носом огромных двухэтажных бусов.

- Что случилось? Что такое? - закричали мы.

- Гонки. Просто ребяташки устроили гонки, - сообщил Гордон.

Правила гонок, по его словам, несложные: выигрывает тот, кто, не разбившись, быстрее доберется до центра. Иногда добираются. А кто первый разбился, тот, значит, проиграл.

Однажды в Аделаиде Ненси Катор и ее муж предложили поехать посмотреть автомобильные кладбища. Ночные улицы давно опустели. Дома спали, прикрыв свои жалюзи. Мы подъезжали к пустырям. Они единственные были ярко освещены в полутемном городе. Там тесно, бок о бок, стояли подержанные машины. Они не слишком изношены, чтобы идти под пресс, они просто старые, устарелые. Их было много, и на лобовом стекле каждой машины краской цена - очень дешево, в рассрочку, на любых условиях, только купите. Начищенные круглые фары смотрели на нас с безнадёжной пристальностью. Синие, желтые, черные, белые, широкие, узкие, приземистые, крутыми умными лбами стекол, - безмолвные шеренги их вызвали чувство обреченности.

Недаром Ненси называла эти парки кладбищами. Накопленный гнев против машин боролся с жалостью. Конечно, я вспомнил о нашей нехватке машин, о наших заезженных насмерть работагах. Я вспомнил пыльные улицы Карачи - верблюдов, запряженных в телеги, маленьких ишаков с непосильным грузом. Одно дело читать в газете о бессмыслицах нашего мира, а другое - увидеть их своими глазами.

Под утро мне приснился кошмарный сон: все страны были запружены машинами, земли уже не было видно, люди ехали на машинах по крышам машин, а потом я попал в фантастический город с широкими тротуарами, с цокотом копыт, с лицами людей, не отделенных от меня ветровыми стеклами и не привязанных ремнями к своим машинам.

Но и во сне я понимал, что это наивная беспочвенная фантазия.

До сих пор я знал лишь, как плохо, когда мало машин. Я знал мечты о сносных дорогах, о резине, о запчастях. Красные колонки заправочных станций умиляли меня, я хотел, чтобы их было больше, чтоб они встречались чаще, мне и в голову не приходило, что получается от избытка автомашин. От переизбытка, от пере-пере-пере - какой становится жизнь, когда машины уже некуда девать, а они прибывают и прибывают, громоздятся, невозможно остановить их появление, и невозможно понять, к чему это все приведет, и о будущем уже не мечтается, о нем не хочется думать.

ПРО АБОРИГЕНОВ

1

Вернувшись из Австралии, я пошел в Музей антропологии и этнографии, что у нас на Вясильевском острове, и вволю налюбовался аборигенами. Они сидели за стеклом, в самом своем натуральном виде, и добывали трением огонь.

- Похож? - спросили меня сотрудники музея.

Тот, что с бородой, был похож на Льва Толстого. Только грифельного цвета.

- При чем тут Толстой? - сказали сотрудники. - На живого аборигена похож?

Он был действительно похож на фотографии, которые нам дарили, на снимки в брошюрах, которые нам тоже дарили, брошюрках о положении аборигенов, о проблеме аборигенов.

- При чем тут брошюры? - сказали сотрудники. - Вы были у аборигенов?

В том-то и дело, что я не был у аборигенов и не видел, как они живут.

Я вспомнил свои предотъездные мечты - пойти по Австралии, встретить аборигенов,

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru посидеть с ними у костра, поговорить по душам о всяких колонизаторах, пошвырять бумеранг. Что касается бумерангов, нам их тоже дарили. Полированные, в виде настольного украшения бумеранги, щетку в виде бумеранга. Вообще в Австралии можно запросто увидеться с кем угодно. Например, на одном из приемов мы разговорились с каким-то седоусым джентльменом, а потом выяснилось, что это лорд и к тому же мэр Мельбурна. Он обрадовался, узнав, откуда мы, и попросил нас во что бы то ни стало передать привет своим знакомым – министру Громыко и министру Фурцевой. Трудно даже себе представить, насколько демократична эта страна. Лорда там легче встретить, чем какого-нибудь аборигена.

Лорды в Австралии не перевелись, а вот с аборигенами хуже. Пока никаких лордов не было, в Австралии жило около трехсот тысяч аборигенов. Сейчас их осталось примерно тысяч сорок.

В 1879 году Миклухо-Маклай писал из Сиднея:

"В Северной Австралии, где туземцы еще довольно многочисленны, в возмездие за убитую лошадь или корову белые колонисты собираются партиями на охоту за людьми и убивают сколько удастся черных..."

Убивать перестали, когда скваттерам понадобились дешевые пастухи и объездчики овцеводческих станций.

Ныне аборигенами занимается великое множество всевозможных комитетов защиты прав аборигенов, фондов помощи аборигенам, ассоциации, лиги. Ученые собирают фольклор аборигенов, этнографы изучают быт, в каждом университете – отделения антропологов, исследующих аборигенов, резервациями аборигенов ведают государственные чиновники, аборигенами занимаются социологи, журналисты, учителя, миссионеры лютеранской церкви, миссионеры-сектанты, миссионеры-католики, комиссионеры по продаже сувениров. Положение аборигенов обсуждается в дискуссионных клубах, в газетах, в парламенте, выпускаются специальные бюллетени, брошюры, книги...

Как только мы приехали в Канберру, нас повели смотреть фильмы о жизни аборигенов в резервациях. Мы увидели, как юные аборигены утром чистят зубы, играют в мяч, какие они веселые и как они выступают на фестивале.

И было непонятно, почему же существует какая-то проблема аборигенов.

Честно говоря, и для меня перед отъездом из Австралии все, что касается аборигенов, было просто. Проблема аборигенов – это выдумка буржуазных идеологов, которым надо оправдать политику порабощения, дискриминации, эксплуатации. Никаких проблем не существует. Аборигенов надо освободить, и вся проблема.

Дома все чужеземные проблемы решаются легко, капиталистическая система как на ладони, нет ничего легче, как ее разоблачить.

Но проблема аборигенов, конечно, существует, доказывали нам австралийские друзья, вопрос лишь – какая.

Каждый определял ее иначе, по-своему, но большинство сходилось на том, что существующее положение аборигенов в резервациях – нетерпимо. Я убеждался, что у каждого уважающего себя австралийца есть собственное решение проблемы аборигенов.

В начале XIX века белые колонизаторы, захватывая для овечьих пастбищ охотничьи территории аборигенов, энергично уничтожали их, оттесняли в глубь материка, в пустыню. Племена аборигенов всегда жили охотой и собирательством растений, они находились, по выражению этнографов, "накануне земледелия", домашних животных не держали, жили рыболовством, собирали ягоды диких растений. Вскоре участки, богатые дичью, животными, лесами, земли, где тысячелетиями жили предки аборигенов, были захвачены белыми. Уцелевших аборигенов загоняли в резервации пусть потихоньку домирают. В резервациях миссионеры взялись их обращать в новую веру. Детей отрывали от родителей и добились своего: оторвали от старой веры, заодно оторвали их от своей древней культуры, обычаев, от языка. В резервациях, в чуждой обстановке оседлости, среди сколоченных из ящиков лагун, они утеряли искусство охоты, собирательства, врачевания, накопленный поколениями опыт. Изъятые из своей культуры, не получив взамен культуры белых, они оказались среди

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
развалин, на перепутье.

Правительство под давлением прогрессивной общественности учредило нечто вроде государственной опеки с целью ассимиляции аборигенов. Но кроме политики ассимиляции есть сторонники так называемой интеграции. Передовая интеллигенция страны сходится в своих требованиях дать полные гражданские права аборигенам. Доказывает, что аборигены вовсе не низшая раса, у них своя этика, свое мировоззрение, им надо лишь дать возможность приспособиться к европейской цивилизации. Но как? Я попробовал записывать ответы разных людей, с которыми я разговаривал:

- Надо организовать сельскохозяйственные кооперативы аборигенов!
- Ничего подобного, нужно выделить удобные для них автономные области, и пусть они там вернуться к естественному для них образу жизни. Это может их спасти.
- А кто нам дал право решать их судьбу? Надо дать им возможность самим выбрать.
- Их может спасти только жестокое насильственное приучение к производству, к машинам, к современному труду фермера. Иждивенчество в резервациях их губит.
- А есть ли вообще выход? Народ не в состоянии перескочить сразу из первобытного общества в современное. - Представляете, что будет с аборигенами, если им дать сейчас все права белого человека?

И так далее, и так далее. Лично я не успел встретить и двух австралийцев, полностью согласных между собой.

Мы хотели составить хоть какое-то собственное суждение.

В Перте мы попросили разрешения посетить резервацию. Любую резервацию, пусть показательную.

Безнадежная затея - предупреждали нас. Но мы не хотели уклоняться. Пусть откажут, - интересно, как откажут.

Отказ был упакован довольно изящно. Культура упаковки в Австралии стоит высоко. Любую безделушку вам уложат в специальный красочный конверт, приклеят слип... Рубашку, например, мне подали в жестком целлофановом футляре. На обратной стороне футляра была рельефная цветная карта страны. Ради такого футляра можно купить любую рубашку. Я завернул футляр в рубашку, я вынимал футляр в торжественных случаях вот какой это был футляр.

Примерно в таком же роскошном футляре правительственный чиновник передал нам отказ:

- Вы передовые социалистические люди, и мы надеемся, что вы поймете нас лучше, чем английская писательница. Она специально приехала писать про аборигенов. Как будто у нас мало литературы выходит. Мы не нашли с ней общего языка и не пустили ее. Посудите сами: мы считаем аборигенов полноправными гражданами, мы воспитываем в них чувство достоинства. Разве мы можем превратить резервации в зверинец для любопытных? Вот если аборигены вас пригласят, тогда пожалуйста.

Как социалистические люди, мы хорошо поняли его. Не то что англичанка. Аборигены нас почему-то не пригласили. И сами не пришли, хотя мы очень хотели увидеться. И в университеты они не ходят, и в клубы, и в бары, поскольку это, очевидно, тоже не зверинцы для любопытных. Они предпочитают голодать, и болеть, и умирать в своих резервациях как полноправные граждане этой прекрасной, богатой, передовой страны.

Почти в каждом доме, где мы бывали, так или иначе присутствуют аборигены. О них не хотят забывать, интеллигенты Австралии не стараются уйти от этой мучительной для них проблемы.

Я вспоминаю стены квартиры миссис Линден Роуз, увешанные большими фотографиями аборигенов. Она много путешествовала по Северной Австралии с племенами аборигенов.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин [granikdaniel.ru](http://granikdaniel.ru)  
У Клемма Кристенса мы видели собрание картин художников-аборигенов.

У профессора Клареса – его библиотеку по истории аборигенов.

И, наконец, библиотеку Алана Маршалла о мифах и легендах аборигенов, чудесные книги об аборигенах, написанные Аланом, снятые им копии рисунков чуринг – священных камней; он подарил нам эти рисунки.

Бумеранги, копья, плетеные сумки, трубы, священные палочки, наконечники – что-нибудь да обязательно было в каждом доме.

В публичной библиотеке Аделаиды директор прежде всего выложил перед нами несколько толстенных томов: отчеты экспедиций научных сотрудников – музыка аборигенов, легенды, обряды.

Интерес к искусству аборигенов – не мода. Через это часто выражается чувство ответственности и вины за судьбу аборигенов. Подчеркивается уважение к народу и его древней культуре.

Культура белых австралийцев ищет свое национальное своеобразие, искусство еще формируется как самостоятельное, изучение искусства аборигенов, насчитывающего тысячелетние традиции, обогащает австралийское искусство. Лучшие писатели и художники Австралии давно уже связали свое творчество с защитой аборигенов. Из года в год романы, рассказы Причард, Маршалла, Виккерса, Дьюрак, Моррисона воспитывали общественное мнение, искореняли предрассудки. Литература боролась, литература работала. Она способствовала появлению литературы самих аборигенов. Мы познакомились с первым поэтом-аборигеном Кэт Уокер. Ее сборник стихов на английском языке пользовался успехом. Кэт рассказывала нам о переизданиях ее книги в других странах. Худенькая, спортивного вида женщина, в строгом английском костюме, она не вызвала никакого удивления, я наблюдал за ней с гордостью и с трудом удержался от восторженных умилений, а удержался потому, что вспомнил рассказ про прием в честь Наматжиры, где один восторженный дурень воскликнул, обращаясь к художнику: "Вы самый белый человек из всех, кого я знал!" Как будто это комплимент, как будто нам дано право мерить собою другие народы.

Может быть, с точки зрения аборигенов наша цивилизация кажется нелепой. Их племенной строй без рабства, без эксплуатации близок к первобытному коммунизму, им непонятно и смешно, зачем белые люди работают друг на друга, почему одни богатые, другие бедные, зачем нужно богатство, лишние вещи, зачем работать, если в магазинах столько еды, и есть жилье, и есть рубашка. Все имущество самих аборигенов умещается в сумке женщины. Они свободны от вещей и денег. Им непонятна наша жизнь, но они не считают нас низшей расой, хотя, как заметил Лундквист, дикари живут на Западе.

В 1836 году, покидая Австралию, капитан французского королевского флота Дюмон-Дюрвиль писал:

"...Повсюду, где только ни появлялись поселенцы высшего образования, непременно уничтожались перед ними первобытные дикие жители. Все колонизации оканчивались истреблением первобытных туземцев, и Австралии, как Америке и Африке, не избежать подобной участи. Около Сиднея дикие племена видимо убывают, и такая убыль доведет их до конечного истребления... Через два столетия Австралия будет Европою Южного полушария, и тогда, может быть, тщетно искать в ней жителей первобытных; следы их останутся только в наших книгах..."

Двух столетий не прошло. Предупреждение французского капитана еще остается в силе.

Но я вспоминаю людей, с которыми я встречался в Австралии. Таких людей не было во времена капитана Дюмон-Дюрвиля. Они не филантропы, не миссионеры, они понимают, что, защищая аборигенов, они защищают Австралию. Они знают, чего они хотят, они еще не всегда знают, как это сделать, но это уже другой вопрос. Кроме них, есть еще и сами аборигены, которые все активнее включаются в социальную борьбу. Наверное, окончательное решение проблемы при нынешней системе невозможно, но и ждать сложа руки тоже нельзя. И еще одну вещь я понял для себя: что со стороны не всегда виднее. Мы уезжали, полные доверия к нашим друзьям. Конечно, история может сложиться и не в их пользу; может быть, они не успеют

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru победить в своей борьбе. Но они будут не виноваты, они сделают все, что могут.

2

С утра Берт Виккерс повез нас наносить визиты разным крупным писателям. Процедура была такова: мы преподносили сувениры, получали сувениры, книги с автографами, выпивали чашку кофе, осматривали сад и прощались. Больше всех мне было жаль Оксану. Голос ее хрипел, как заигранная пластинка, сколько вы будете в Австралии, куда еще поедете, понравился ли вам Перт, жарко ли вам у нас?

Ответив на эти вопросы, мы следовали к следующему крупному писателю. Берт был убежден, что каждый визит укрепляет австрало-советские отношения. Мы обвиняли его в погоне за количеством, в показухе, в очковтирательстве. Но он был неумолим. Австрало-советские отношения были ему дороже наших отношений.

Так мы добрались до Мери Дьюрак, популярной поэтессы Западной Австралии. У Мери сидела ее сестра – художница Элизабет Дьюрак, потом пришли их дочери, сыновья. Мы сидели в белой стильной гостиной, пили кофе, говорили. Берт поглядывал на часы, Оксана переводила, а я размышлял о том, что Мери Дьюрак наверняка интересный человек, но так она и останется для меня изящной светской дамой с веером в руках, не больше, десятиминутный визит делает всех одинаковыми. То ли дело у нас: приходишь в гости, так уж часов на пять, есть где развернуться – и людей посмотреть, и себя показать.

– Наверное, вам в нашей стране жарко? – перевела Оксана.

– Да, – одурело сказал я. – Перт – очень красивый город.

Мы поднялись, чтобы откланяться. И тут Элизабет Дьюрак пригласила нас к себе в мастерскую. Она жила в соседнем квартале. Берт извинился, поскольку нам надо было ехать к следующему крупному писателю. Я тоже извинился, представив себе ее салонные картинки. Она выглядела изысканной дамочкой и должна была писать милые картинки "под-арт". Кроме "поп-арт" есть и "под-арт", наиболее живучее из всех направлений: под Ренуара, под Матисса, под Шагала, под искусство, под моду. Под стать этой белой гостиной с модной мебелью под старину. Но тут я взглянул на ее руки. Это всегда любопытно: руки художников, хирургов, пианистов. У нее были усталые большие руки ткачихи или обмотчицы. Такие руки я видел на заводских конвейерах, руки-кормильцы.

Мне захотелось увидеть ее картины.

Мы с трудом упросили Берта. Мы пробыли в мастерской Элизабет Дьюрак всего полчаса. Теперь, когда Австралия вновь стала далекой, недостижимой, я чувствую, как мало мне этих тридцати минут. Надо было взбунтоваться, сесть в ее мастерской и поработать. Заснять картины, сделать записи. Если б я писал один-единственный рассказ об Австралии, это был бы рассказ о картинах Элизабет Дьюрак.

Там были изображены дети аборигенов. Изглоданные голодом, болезненные, на тоненьких подгибающихся ногах, они стояли, взявшись за руки, напоминая мне чем-то детей блокадной ленинградской зимы. Только вместо снега, заледенелых тротуаров кругом была желтая, выжженная, грязная пустыня. Я никогда не видел такой пустыни – замусоренной банками, отбросами. В огромных глазах каждого ребенка повторялся один и тот же вопрос – что нас ждет? Они стояли на пороге небытия. Еще немного, и они исчезнут, их не станет. Есть ли у них будущее? Вот их отцы и матери. Когда-то сильные, красивые люди, они теперь бесцельно бродят, точно призраки, среди шалашей из мешковины и ящиков. Они-то наверняка лишены будущего. Заблудившийся народ. Оступелые существа, которых аккуратно подкармливают. А вот их везут на грузовике в пустыню – для "моциона". А вот аборигены сидят, безнадежно уставившись в пространство. Так проходит их жизнь. Невозможно представить себе, что это те люди, которые были ловкими охотниками, умели выслеживать кенгуру, подкрадываться по совершенно открытой равнине, метать без промаха копье, неутомимые бегуны, способные часами, сутками преследовать стада, взбираться по голым стволам эвкалиптов за опоссумами.

Обугленные зноем краски на картинах Элизабет Дьюрак напоминали рисунки аборигенов, красноватую кору эвкалиптов, и от этого достоверность усиливалась. Дети, "зацивилизованные" миссионерами, маленькие истощенные озлобленные старички. Успеют ли спасти их будущее? Матери, которые не знают, зачем они

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
растят и нянчат своих детей...

Осознавала ли сама Элизабет Дьюрак силу своих картин? Не знаю. Скорее всего она была пленником пережитого. Она жила на ферме у брата, где работали аборигены, она бывала в резервациях. Не в тех резервациях которые мы видели в кино. Но я подумал, что, если б даже нас пустили в эти резервации, мы не сумели бы открыть для себя той трагедии народа, какая предстала в ее картинах. Снова и снова я убеждался, какой силы гражданственности может достигать талант живописца. Не хотелось вникать в технику, в приемы; стоило появиться такому озабоченному болью, несправедливостью, протестом, требующему ответа искусству – и всякие споры о новаторстве, о форме отодвигались...

Оставался мучительный вопрос, поставленный художником.

Что будет с этим народом? Как спасти его? Вот о чем спрашивали ее картины. Они требовали поступка. Их надо было отпечатать в тысячах репродукций, развесить в уютных коттеджах, в роскошных офисах, чтобы испортить настроение этой жирной стране.

...Я был несправедлив. Ведь я уже знал многих австралийцев, которые самоотверженно боролись с дискриминацией аборигенов, которые немало сделали для защиты этого народа. Я был несправедлив, но, глядя на эти картины, я и не хотел быть справедливым.

Старенький автомобиль Берта мчался, нагоняя упущенное время. Мы опаздывали на очередную визит. Кремовые, терракотовые, оливковые коттеджи млели под солнцем среди цветущих роз, и синих норфольских елей, и сигаретных деревьев, где так удачно сочетается красное с серовато-пепельным.

Нас плавно обходили длинные блестящие лимузины. В садах крутились поливалки. Вот улочка, стилизованная под старую Англию времен Шекспира. Обратите внимание на свинцовые переплеты узких окон, граненые фонари, узорчатые кованые решетки. А часы с драконом. А крохотные лавочки. Очень милая улочка. А ресторан в Кингс-парке! А какой вид на город открывается, если смотреть с памятника жертвам войны! Не хотите ли кофе? Понравился ли вам Перт? Наверное, вас замучила жара?

3

По сути это был магазин художественных изделий, магазин изделий аборигенов. Можно было назвать его салоном, но он назывался галереей. Хозяином был Рекс Баттерби. Известный австралийский художник, один из двух учителей великого художника-аборигена Альберта Наматжиры. В первых залах были выставлены изделия аборигенов. Человеческие фигурки, вырезанные из коры, расписные бумеранги, щиты, копьеметалки, корзины, всякая утварь, инструменты. Висели картины, сделанные на коричневой коре эвкалипта. Это была самая что ни на есть самобытная живопись аборигенов. Ничего общего с европейскими акварелями Наматжиры и его последователей.

Картины были двух сортов, они разделялись на манеры, или два способа видения. Первый – где животные изображались как бы в плане. Там были крокодилы, черепахи, змеи, то есть те животные, которые лучше просматриваются сверху. Вторая группа картин – животные, которых в плане изобразить нельзя: эму, кенгуру, опоссумы, – их рисовали нормально, сбоку. Но при этом они были прозрачные! С внутренностями – желудок, спинной хребет, кишки. Как в анатомическом атласе. С той разницей, что кенгуру не чувствовали себя препарированными, они прыгали и радовались жизни вместе со всеми своими кишками. Так называемое рентгеновское искусство. Казалось бы – натурализм. Ничего подобного, наоборот, тут была поэзия детского восприятия мира. Дети ведь тоже рисуют не только то, что они видят, но и то, что знают. Художник-абориген не отделяет видимое от известного ему. Раз они знают, что должно быть внутри, они и рисуют. Любопытно, что и фантастические, придуманные животные тоже имеют свою анатомию. Только изображения человека не рентгеновские. Человек не предмет охоты.

"А может быть, они хотят выразить этим другое, – подумал я, – может быть, они хотят сказать, что никто не знает, что за зверь человек, что у него там, внутри?"

Орнамент, окружающий животных, иногда что-то обозначает.

На картине, которую мне подарили, крокодил, оказывается, пересекает тропу воинов. По рисунку на полоске-тропе можно определить, где находится эта тропа и воины какого племени ходят по ней.

Своеобразное искусство аборигенов оказало влияние на австралийскую живопись. Некоторые мотивы используются художниками, – особенно я почувствовал это в мастерской Элизабет Дьюрак.

Галерея была бы совсем хороша, если бы у каждой картины, у каждой фигурки не висели этикетки с ценой. Для меня всегда было загадкой, как определяют стоимость картины. Ясно, например, что невозможно назначить цену Рембрандту. Ну, а Наматжире?

Его картины висели в последнем зале. Там были картины его братьев, племянников и несколько картин самого Наматжиры. Я слышал об этом художнике еще года три назад. Я знал историю Наматжиры – как он мальчиком вызвался быть погонщиком у художников Баттерби и Гарднера и взамен просил научить его рисовать. Как они учили его во время путешествия по пустыне и как потом он сам стал писать красками, приобрел известность и вскоре стал художником с мировым именем. Он получил звание академика живописи, права гражданства, но это ему не помогло. То, что простили бы белому, не прощали аборигену: он нарушил закон, и его вернули в резервацию. Он умер в 1959 году.

В картинной галерее Сиднея я первым делом стал искать Наматжиру. Других австралийских художников я тогда не знал. Наматжиры не было. В Мельбурне повторилась та же история. Ни одной картины Наматжиры в экспозиции не оказалось. Мне говорили, что это случайность, многие австралийцы удивлялись: не может быть. Невероятно, но это факт, и я еще раз подтверждаю, что в феврале 1965 года в картинных галереях Сиднея я Мельбурна полотна Наматжиры выставлены не были.

Впервые я увидел подлинного Наматжиру в Аделаиде, в галерее Рекса Баттерби. Увидел и в первую минуту разочаровался.

Красивенькие, чистенькие акварельки – идиллические пейзажи, очень аккуратно, тонко прорисованные пейзажи. Но у больших художников есть такая повадка: они не любят раскрываться сразу, они требуют времени и внимания. С ними надо повозиться.

Вглядываясь, я узнавал то, что прежде соскальзывало, не задевая воображения. Наматжира показал мне поэзию австралийских степей, какие удивительные краски имеют горы, мимо которых я проезжал, – сиреневые, рыжие, огненно-красные. Он часто изображал на переднем плане эвкалипты. И я вдруг понял странное чувство, которое вызывали их светлые стволы перед наступлением темноты. Привидения – они напоминали привидения, – Наматжира точно уловил этот образ. Фотографически достоверные фигуры эвкалиптов у него представляли фантастически-призрачными, что-то человечески трагичное заключалось в изгибах гладко-белых ветвей. Очертания их создавали характеры, вызывая мысли о людских судьбах.

Было ли это в замысле художника? Не знаю. Вроде бы он ни в чем не отступал от подлинности пейзажа, нельзя было уловить малейшую подгонку, условность. Пейзаж был точен и в то же время вызывал определенные чувства. В нем присутствовала незримая добавка личности художника, и этого было достаточно.

Мы удивлялись: как же так получилось – ведь все это мы видели и не замечали этой красоты.

В глазах Рекса Баттерби мы, очевидно, выдержали экзамен, в награду он вынес откуда-то собственного, непроданного Наматжиру – несколько первоклассных картин, грустных, долины в лилово-серых тонах и лиловато-серые горы, запыленные кусты, пересохшие русла.

Родственники Наматжиры, сыновья его продолжают рисовать в манере отца, картины их пользуются спросом, сам Рекс считает некоторых из них не менее талантливыми, чем Наматжира, их работы висели тут же в зале, во для меня они были примечательны прежде всего доказательством художественной одаренности аборигенов. Никаких училищ, академий, – они увидели, как рисует Наматжира, увидели, что за картины платят деньги, и немалые, а чем мы хуже? – и начали

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru рисовать. И выяснилось, что не так уж хуже, их сейчас пятнадцать-двадцать художников из племени аранда.

Наш интерес к Наматжире и то, что о нем знают в Советском Союзе, возбудило множество разговоров. В университете Аделаиды после нашего выступления Ненси Катор подвела нас к высокому слепому человеку. Он протянул руку:

– Виктор Холл.

Он приехал издалека только для того, чтобы подарить вам свою монографию о Наматжире. Длинные пальцы его тронули мои плечи, голову – ему хотелось как-то почувствовать...

– Какие они? – спросил он жену. – Как они выглядят, эти русские, которым интересен Наматжир?

Это была самая трогательная и трудная из всех наших встреч в Австралии. Виктор Холл был художником. На войне его ранило, он стал терять зрение и в 1959 году полностью ослеп. Он не мог писать картин, он стал писать о художниках. Его книга о Наматжире – одна из лучших. Он знал Наматжире хорошо – полжизни Холл провел среди племени аранда. Я смотрел, как он подписывал книгу четко и уверенно между строк заголовка. Он помнил краски на картинах Наматжиры и встречи с ним.

Мы хотели расспросить Холла о нем самом, но Ненси шепнула нам, что нельзя их задерживать – было поздно, а им предстояло долго добираться домой.

#### ГОЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Камни из-под ног, колючая трава, тропка, заборчики, освещенные окна висят в черноте, огни справа, огни слева. Впереди меня колышет большая волосатая спина Джона Брея. Белизна ее светит сквозь волосы и ночь. Где-то перед ним сбегает вниз Ненси. Смех ее прыгает по камням, отскакивает от невидимых стен невидимых домов. И вдруг впереди огромная теплая темнота. Она еле слышно дышит. Затаилась или спит. Это океан. Я скидываю полотенце и сандалии в общую кучу. Тонкий песок пляжа хранит дневную жару. Я подхожу к океану, трогаю его ногой, вступаю, иду. Я вхожу в него по пояс. Отличный этот Индийский океан. Джон Брей погружается в него, как корабль со стапелей. К нам бежит Ненси. – Вода вокруг ее тела светится. Я загибаю рукой, и у меня вода начинает вспыхивать, там что-то разбудилось, переблескивается. Мы плывем, оставляя за собой светящийся след. Мы забираемся в океан, касаемся кромешной дали его, той, где острова, бури, теплоходы, кораблекрушения, акулы. Ненси объясняет, что ночью акул у берега нет, они уходят спать, разве что какая-нибудь загулявшая... Лица Ненси не видно. И у Джона не видно лица. Мы как в черных масках. Поэтому говорим что взбредет в голову. Ненси хочет показать мне Южный Крест. Я с трудом понимаю ее. Она не умеет говорить медленно. Она не может повторять одно и то же. Вероятно, речь ее выглядит так:

– Смотри сюда, вон он, Южный Крест. О господи, да не там, видишь – Центавр, так вот Крест – часть созвездия. Прямо над тобой. Крест, ну Христа распяли. Евангелие. Смешно, как ты мог подумать, конечно, я атеистка. Левее Млечного Пути. Молоко, понимаешь? Дорога, понимаешь? Автомобиль. Да никуда мы не поедem. Джон, я замучилась с ним.

Джон ткнул своей ручищей в небо, прямо в середину Южного Креста, и я увидел наверху четыре звездочки. Ничего особенного в них не было. Звездочки, каких тысячи. Просто им повезло в смысле расположения. Вот про них и насочиняли, сотни лет сочиняют стихи и песни.

Я перевернулся на спину, и весь небосвод со всеми созвездиями заколыхался над мной. Я плыл среди них, между Скорпионом, Стрельцом, Павлином, мне вспомнилась школьная карта в нашем кабинете астрономии и прекрасные слова: Орион, Козерог, Водолей, Знаменосец. Они все были где-то здесь, под рукой, их надо было лишь соединить линиями, нарисовать Козерога и Водолея. Фантазия первых астрономов – они были просто пастухи, это я тоже помнил из школы, – фантазия их сохранялась тысячелетия. Они сочиняли на небе звездами – самым стойким из всех материалов, какие я знаю.

Время исчезло. Наше земное маленькое время затерялось в пространстве Вселенной.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
Только океан мог что-то уследить в жизни звезд. Часы внутри меня остановились. Тиканье их умолкло. Тело мое плыло и плыло в этой теплой невесомости, пока я не увидел даль огней на берегу. Куда мне возвращаться – я понятия не имел. И пока я добирался к берегу, я уже знал, что потерял Ненси и Джона. Я шел по пляжу, кричал и прислушивался. Никто не отвечал. Я не представлял себе, в какой стороне дом Ненси, как искать его. Я был один на берегу Австралии, голый человек, приплывший из океана. А может, это была не Австралия?

Песок не хранил следов. Он тянулся одинаковый, без примет. Я ненавижу песок, покорность песка, равнодушие песка, его беспамятность, его мертвость. Нет ничего мертвее песка. Он не способен ни к чему, кроме уничтожения. Песок – это смерть, это враг всякой жизни.

Дорога слабо светилась меж холмов. Я уходил от берега. Длинные сараи тянулись вдоль обочины. Потом сад. Потом коттеджи. Там горели торшеры, были окна, где голубовато пульсировали телеэкраны. Был ли это тот самый поселок или другой, огни тянулись вдоль всего побережья. Редкие прохожие они не оглядывались на меня, не удивлялись. За низкой оградой горели костры. Мужчины и женщины бродили, грелись, чинили полосатые паруса. Многие были, так же как и я, в одних трусах, в купальниках. Я толкнул калитку и вошел во двор, – никто не обращал на меня внимания. Я ничем не отличался от них. Я протянул руки к костру, – можно было подумать, что здесь пристанище для тех, кто вышел из моря. Мне хотелось думать, что сюда приходят люди из океана, голые, заблудившиеся люди. Я грелся вместе со всеми, слушал их песни, я мог бы лечь тут спать на циновке. Пока я молчал, я был неотличим. Смуглые девушки сидели на корточках у огня. Раскачиваясь, они тихо пели. Бородатый парень сыпал чай в котелок. Над пламенем, вертась, пролетел бумеранг. Двое мальчиков танцевали вокруг ошалелого от света и шума кролика. Девушка с белой доской серфинга на плече улыбалась. Она осмотрелась, с кем бы поделиться своей улыбкой, встретила мой взгляд и подарила улыбку мне. Это был прекрасный подарок. Мне как раз сейчас не хватало улыбки, и я с ней пошел в темноту.

Я поднимался по каменным ступеням, вырубленным в скале, мимо перевернутых смоленых шлюпок, развешенных сетей, мимо бочек, грузовиков, мачт с высокими красными огнями. Шоссе жирно блестело гибкой лентой. Неоновые буквы освещали бензостанцию. Кудрявый золотой баран горел над ней. Голый, я шел по шоссе. Неоновые отсветы тонули в темной глубине асфальта. Машины обгоняли меня. Мокрые следы тянулись за мной. Они быстро исчезали, высыхали. Я отпрыгнул в темноту на обочину. В машине ехала женщина. Она видела несколько следов босых ног перед собою. Следы начинались посреди шоссе и обрывались. Несколько следов. Как будто кто-то спустился сверху, прошелся по шоссе и опять взлетел. Машина проехала. Мне было обидно, что никого не заинтересовала странность. Никто не хотел удивляться одинокому следу на асфальте. Я стоял под эвкалиптом и смотрел на этот последний высыхающий след. Представлял себе огромный пустынный пляж, океан, солнце и посреди отмели на плотном песке тяжело вдавленный один след одной босой ноги. Необъяснимость этого пугала.

Я почувствовал себя легким и совсем свободным. Как будто жизнь начиналась сначала, с ничего, как будто я только что родился и все мои чувства воспринимали окружающие в новинку. Не было ни памяти, ни тревоги, я еще ничего не знал, я еще не был ни в каких других путешествиях, у меня еще нет биографии.

Память не мешала, прошлого не существовало, а вместе с ним исчезли все заботы, планы, расписания, напряженная готовность ко всяким вопросам, страх, что не успею записать, запомнить имена, даты, всевозможные истории, куда ходили, что делали... Все это стало ерундой-ерундистикой, сгинуло.

Положение мое было настолько нелепым и безнадежным, что не стоило ни о чем беспокоиться. Если бы я заблудился нормально, то есть имея деньги, документы, одетый, то, конечно, я бы пытался куда-то звонить, что-то выяснять, подумал бы о ночлеге. Но на мне были только мокрые трусы. И что я мог сказать прохожим на своем ужасном английском языке? Все это я соображаю теперь, а тогда я даже не размышлял на эту тему.

Где-то на берегу затерялся дом Ненси с окнами на море, с большим холлом, вместо стола там стойка, наподобие бара, в холле остались все, кто не пошел купаться, они сидели в креслах, пили кофе, трепались, ожидая нас. Может, искали, волновались. И это меня тоже не трогало. Оно перестало иметь ко мне отношение.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru Оно отделилось от меня, вернее я отделился от всего, что со мной было до сих пор, осталось лишь то, что со мной, – вот эти ноги, руки и мотивчик, который я высвистывал. Никаких должностей, положения, только то, что я умею. Сейчас я не понимаю, как же я не испугался. Я пытаюсь как-то оправдать себя и понять то счастливое состояние. Я шлепал по шоссе, наслаждаясь прохладой, и свистел и пританцовывал. Кто-то древний высвободился из моей оболочки, распрямился в своем натуральном естестве и, торжествуя, убежал от всего нажитого. В темноте белели эвкалипты, светлые, оголенные стволы их, причудливо перекрученные, появлялись как призраки. Процессия их следовала за мной вдоль шоссе, заламывая руки, кланяясь, изгибаясь узловатыми туловищами. Ветви со вздутыми бицепсами тянулись к небу.

Южный Крест горел надо мной – единственное знакомое мне созвездие. Я все видел и чувствовал: запахи, спутанные ночью краски, легкие звуки, я жил наибольшей полнотой ощущений, какая была у меня в детстве с готовностью принимать все окружающее, удивляться красоте и странностям мира. Это было начисто забытое состояние.

Просто жизнь, в чистом виде, без примеси цели. Давным-давно я разучился так жить. Гулять я ходил чтобы проветриться. Ездил – за впечатлениями. Смотрел то, что мне надо было увидеть или узнать. Я отвык просто пойти в лес, как в детстве, мне нужна была какая-то цель – собирать грибы, охотиться или пройти сколько-то километров. А было время, когда я мог бродить часами, воображать, смотреть, не стараясь ничего запомнить, записать, чтобы потом использовать. Я ходил по лесу и чувствовал себя путешественником, заблудившимся в какой-то неведомой стране. Я пробирался к капиталистам и готовил там революцию, собирал отчаянных, как Овод, смельчаков.

Никому не было дела до моего детства, его никто не посещал, с годами оно заросло, как запущенный сад.

У ярко освещенной бензоколонки перед шикарным "мерседесом" стояли трое мужчин и маленькая женщина с очках. В их громком разговоре я услышал слова: гангстер... играть... шок... При виде меня они стихли, а я продолжал свистеть. Насвистывая, я прошел сквозь их молчание и вдруг почувствовал, что они опасаются меня. Это было забавно. Я никого не боялся. Я был свободен от всего – и от страха. У меня нечего было взять. У меня были все преимущества бедности, абсолютной нищеты. Я не обладал ничем, поэтому мог претендовать на все. Я был опасен. Я чувствовал заманчивую потребность восстания.

Шоссе разветвлялось. Издали я увидел перекресток и огромную рекламу кока-колы. Единственное, чего мне не хотелось, – это выбирать дорогу. Впервые я тогда подумал о том, что меня ожидает, что будущее мое зависит от выбора, пойду я направо или налево. Это еще не были отчетливые мысли, это было самое начало их, предчувствие, тишина, как перед дождем.

Под пыльным щитом стояли две фигуры. Женщина и мужчина. Они о чем-то шумно спорили. Мужчина оглянулся в мою сторону:

– Хэлло, – и помахал мне рукой.

Это был Джон Брей. И рядом с ним Ненси.

Джон кинул мне купальное полотенце

– Б-р-р, где ты ходил так долго? Пошли, пошли.

Ненси побежала вперед, мы за ней, она на ходу еще что-то доказывала Джону, и он отвечал ей.

В холле пили кофе, и, когда я вошел, мне сказали:

– Бери сосиски. Вот твоя порция. Не остыли?

– Вроде нет, – сказал я.

Сосиски действительно были еще горячие.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru  
БЕЛАЯ НОЧЬ

Большей частью путешественник берется за перо оттого, что ему не дают выговориться. Он не находит слушателей. Древнее искусство слушать почти утрачено. Хороший слушатель сейчас редкость, нарасхват.

По возвращении приходят друзья-товарищи, вроде бы специально приходят узнать, как съездил, что за Австралия, и уже через десять минут каждый ждет не дождется, чтобы прервать тебя своими новостями. А прощаясь, жалуются – плохо, мол, рассказал, слова из него не выжмешь. Всем некогда, ходишь-ходишь со своей Австралией, через две недели от тебя уже отмахиваются: знаем, слышали, сколько можно.

Австралия, как таковая, тут, конечно, ни при чем, у Колумба были такие же неприятности с Америкой.

"А, Христофор! Где пропал? Говорят, открывал эту самую... Ну что там новенького? А у нас, слышал про папу Александра? Анекдот!"

Так ему и не дали рассказать, поэтому до сих пор историкам приходится возиться со всякими неясностями.

Писать путевые заметки нелегко, но еще труднее их кончить.

Надо бы рассказать еще о том, как мы с Джоном Моррисоном посетили школу: Джон опасался, что нас, советских людей, не пустят, а нас приняли с удовольствием, повели в класс, мы разговаривали с ребятами о литературе, и это было очень интересно.

Я хотел бы написать отдельный рассказ о радиорепортере, как он приходил брать интервью; у него был список довольно пошлых вопросов, и мы почувствовали, что ему все это неприятно, потом мы разговорились, и он оказался отличным парнем и тихонько подсказывал нам хлесткие ответы, и мы вместе с ним занимались коммунистической пропагандой на всю железку.

Надо бы написать о встрече с социологами и о встрече на кафедре русской литературы в Мельбурнском университете, вообще о русских в Австралии, и еще о наших друзьях, детском писателе Винченце Сервенте, который занимается природой Австралии так же, как у нас занимался Бианки, о руководителе Нового театра Мери Аронс, о Робин и ее семье. Может быть, это было бы интересней того, о чем я написал. Записки – второе путешествие, тут сам выбираешь маршрут и события, но никогда не знаешь, правильно ли ты выбрал.

Когда я писал эти записки и рылся в блокнотах, мне попался заложенный среди всяких австралийских бумажек и открыток длинный, странного цвета волос. Он был розовато-рыжий, толстый и жесткий, похожий на струну.

Не сразу я сообразил, что это Алан, его штучки. И я вспомнил его последний приезд в Ленинград. Мы отправились в гости к Юрию Герману. Он любил Алана Маршалла и его превосходную, такую мужественную и такую жизнеликую книгу "Я учусь прыгать через лужи".

Алан пел песни и рассказывал свои неистощимые истории про опоссумов, динго и детей. И опоссумы, и попугаи, и динго в его рассказах тоже были детьми. Большой ребенок – есть такое снисходительное выражение. К Алану оно не подходило. У Алана была ребячья искренность, ребячья доверчивость и преданность друзьям и ребячье понимание дружбы. Не Алан был большой ребенок, а мы рядом с ним были слишком взрослые. И, глядя на него, мы чувствовали всякие свои грустные потери возраста, хотя он был старше нас. Юрий Павлович Герман точно заметил, что повесть Маршалла ребята принимают не как книжку, написанную для детей, а как написанную их сверстником. Рассказывая, Алан часто вспоминал отца, как отец воспитывал и лепил характер сына. Все мы с годами начинаем лучше понимать своих родителей. Они уходят, а мы становимся к ним ближе, лучше разбираемся в их поступках. Запоздало признаем их советы и свои прошлые глупости. Отец Алана не был никакой знаменитостью, он был фермером и хорошим умным отцом. Он давно умер, но Алан остается сыном. Он уже и сам отец, а сын в нем не исчезает. Слушая его, мы невольно завидовали думали, как бедны люди, которые стараются поскорее отдалиться от своего детства. Когда-нибудь им захочется вернуться, но там уже

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru ничего не останется, кроме смутных случайных обрывков. Отец Алана, дед, его предки существуют, пока он ходит по земле. Они в нем как кольца внутри ствола.

В тот день, у Юрия Германа, мы совершенно позабыли что Алану не очень-то можно было пить, мы пили с ним на равных. Общаясь с ним, не верилось, что Алан – калека, с детства у него ноги парализованы, он ходит на костылях и так далее. Мы обнаружили это, встав из-за стола: оказалось, что Алан не крепко держится на своих подпорках. Рискованно да и трудно было спускаться ему по узкой крутой лестнице. Но он сразу нашел выход. Он забрался к нам на плечи, обхватил за шею, и мы понесли его. Он сидел наверху, легонький, маленький, и пел, и мы тоже подпевали ему. Мы чувствовали себя мальчишками. Все было как в детстве, когда мы катались друг на друге. Так мы прошли через двор, через лужи, к машине, и нам не хотелось спускать его – такая это была славная игра.

Мне захотелось что-то подарить Алану на память о Ленинграде. Всякие альбомы и матрешки – все это у него уже было. Мы ехали в машине, болтали, а я мучился, поскольку проблема подарков – одна из труднейших для меня.

– Послушай, – вдруг сказал Алан, – не можешь ли ты сделать мне подарок? Самый для меня дорогой подарок.

– Ты телепат, – сказал я. – Ты парапсихолог.

– Не ругайся. И не радуйся. Это не простой подарок, приготовься, – он сделал таинственное лицо. – Мне нужны волосы мамонта!

Жаль, что я не видел своей физиономии в эту минуту. Наверное, это было редкое зрелище. Более редкое, чем мамонт.

– Пожалуйста, не переживай, – сказал он. – У вас в Ленинграде полно мамонтов. Я узнавал. Они в Зоологическом музее. Одного я помнил. С детства. Наверное, он до сих пор стоит там. Но никаких знакомств и связей по линии мамонтов я не имел и не знал, с чего надо начинать в таких случаях. Да и в каких "таких случаях"? Есть ли еще такие случаи? Но выяснилось, что есть. И немало. В Зоомузее мне объяснили, что спрос на эти Мамонтовы волосы велик. Есть специальная наука, которая изучает волосы животных, и, значит, есть ученые, аспиранты, лаборанты, кафедры, препараты – все, что полагается. Всем им нужны были волосы мамонта. Но Алану нужны были эти волосы не для науки. Алан хотел написать книжку про свое путешествие, книжку для детей и чтобы там было про мамонтов.

– А когда ко мне будут приставать глупые наши репортеры, что я привез из Советского Союза, я им скажу, что волосы мамонта. И покажу. Привез для того, чтобы подарить австралийским ребятам. Такую штуку эти типы обязательно напечатают. И отцепятся от меня с разными ихними замыслами. А ребятам нашим я буду дарить волосы мамонта. Им это будет интересно после моей книжки. У нас ведь не было мамонтов.

Все это я как можно серьезнее изложил сотрудникам музея.

– Хм, – сказали сотрудники, – мамонтов мало, а детей в Австралии... И что это даст для науки... И вообще это странно...

Я молчал. Но затея Алана постепенно размягчала их музейные сердца. Что-то озорное, полузабытое проступало на лицах. Индейцы, охотники за скальпами, Дерсу Узала и прочие радости мальчишеской жизни.

Мамонт был осторожно ошипан. Мне выдали пучок этих самых мамонтовых волос, и я преподнес его Алану. Он был счастлив.

– Господи, ты представляешь? – сказал он. – Неужели они такие и бродили – розовато-рыжие!

Я представил себе, как розовато-рыжие мамонты бродят по его саду. В саду стоял маленький по-русски сарайчик, где работал Алан. Там царил страшный, веселый беспорядок, на стенках висели рисунки детей, его читателей. Они иллюстрировали его книги, изображали самого Алана. Они рисовали ему то, что считали нужным для пополнения его знаний. Воспитывали, образовывали, наставляли.

Месяц вверх ногами. Даниил Александрович Гранин [granikdaniel.ru](http://granikdaniel.ru)  
Алан жил под Мельбурном, в местечке Эльтом. Мы приехали к нему поздно вечером, и на следующее утро я проснулся от птичьего крика. В саду вертелась поливалка. Под радужными хвостами воды кувыркались птахи. На столике у моей кровати лежала пачка сигарет, спички. Вероятно, Алану этого показалось мало. Чем-то ему еще хотелось выразить свое внимание. И рядом с сигаретами он положил книжку "Московский Кремль". Наверное, подаренную кем-то в Москве. Разыскал ее среди своих книжных завалов. Архангельский собор. Царь-пушка. Грановитая палата. Это было наивно и немного смешно, но это было одно самых чистых и трогательных выражений любви, которые я получил в своей жизни. То утро в Эльтоме как-то соединилось для меня с ленинградским вечером, когда мы после Зоологического музея поехали в Петергоф.

Играли фонтаны. Гремела музыка. Толпы гуляющих тесно заполняли все аллеи и площадки. Я никак не мог показать Алану перспективу "Большого каскада". Мы не могли пробиться к "Зонтику". Алан не огорчился. Его мало интересовали Монплеизир и Шахматная горка. Куда больше его занимали серебристые цистерны кваса, и очереди за квасом, и мальчишки-удильщики, что стояли на камнях посреди дремотно-белесой вечерней воды залива. Я не успел заметить, как он очутился посреди студенческой компании танцующих под гитару. Костыли не мешали ему и незнание русского языка тоже. И сам он тоже никому не мешал, привлекая всех силой своего удивления. Я не понимал, чему он удивляется. Было пыльно, со всех сторон толкались, шумели, пели песни. Все шло как обычно, как всегда бывает на петергофских гуляниях в белые ночи. Алан сиял. Его восхищали папиросы, тубетейки, эскимо, с восторгом он оглядывался на матросов, на десятиклассниц в белых фартуках, на стариков с медалями.

- white night, white night, - твердил он изумленно и показывал мне на гладкую даль залива, слитую с таким же гладким и белым небом.

Он недоумевал, даже презирал меня за то, что я не удивляюсь, не вижу этой ночи, этой толпы, этих лиц.

А мне лицо самого Алана говорило в эту минуту больше, чем высокое, знакомое с детства небо: я вдруг сообразил, почему ему так хочется написать про нас, про этих ребят, а мне - про Австралию. И что мы не можем с ним поменяться. У меня тоже была своя Австралия, какой не было даже у него, пусть самая малая ее часть, пусть всего лишь первое впечатление...

1966 год.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!